

ОТ АВТОРА ВОЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

Коллега-писатель как-то сказал: «Я только тогда понял, что русский и украинский — два разных языка, когда начал переводить».

Кто и что заставили меня сесть за перевод романа Лины Васильевны Костенко «Маруся Чурай»? «Кто» — великолепный украинский поэт и мой друг — Владимир Стальной; «что» — высокая поэзия Лины Костенко, которую так обидно мало знает моя Белгородщина. «Приказ» Владимира Стального и поэзия Лины Васильевны совпали с моим 59-летним состоянием души: я живу на Слобожанщине 59 лет.

Можно перевести... через дорогу человека. Можно просто перевести добро на нечто другое. А надо перевести с родного языка так, чтобы родной язык после перевода стал ещё роднее.

За исключением моих друзей — прекрасного русского поэта Анатолия Мирошниченко, с его строгими замечаниями, и моего друга, историка и полиглота Алексея Можевитина, который так меня отделал, что я засел ещё на четыре месяца за перевод, — коллеги-писатели отнеслись благосклонно.

Алексей Можевитин — редактор и корректор этой книги, без его помощи и бескорыстного участия я бы просто не справился. По его совету я сделал сноски с разъяснениями непереводаемых терминов и исторических событий на Украине, русский читатель которых может и не знать.

Много лет назад мой учитель и друг, большой украинский поэт Роберт Третьяков, прочтя мои переводы своих произведений, разрешил мне подписываться под ними как авторизованные «*навіки*».

В данном случае я не могу так подписаться под своей работой. И с Линой Васильевной не согласовано, и не перевод это в полном смысле. Я пропустил чарующее Слово Лины Костенко через себя, через своё сердце. А что получилось из этого, судить читателю. И да простит меня Автор, если я Его огорчу.

В коротком предисловии всего не скажешь, что не просто волнует, а кровоточит. Не о такой самостоятельности Украины мечтал я в 1991 году:

*Нам в господа хотелось,
далёко от Москвы
во суверенность вера возростала.
Мы разрубили тело двуглаво,
но, увы,
не каждой части голова досталась.*

Похоже, что обе головы вообще выбросили на помойку:

*Мы снова всё — «до основанья»...,
не понимая, что «затем»
нам не дожидаться созиданья
от тех,
кто сделан был «ником».*

Национальный вопрос — важнейший из... Я категорически за то, чтобы национальная принадлежность гражданина Украины была указана в паспорте. Я — русский человек и этим горжусь. И только потому, что я люблю свою маму, я люблю Украину и считаю её второй моей матерью. Доказательства? Пожалуйста: женился на украинке Лидии Подольской; у нас два взрослых сына — Святослав и Роман; у сыновей жёны-украинки — Наталья и Юлия. Хотелось бы, чтобы моя внучка «хохлушечка» Анна любила Украину и Россию так, как люблю их я.

Много лет интеллигенция России и Украины борется за Николая Васильевича Гоголя: украинцы

считают его своим писателем, а русские — своим. **Николай Васильевич Гоголь — «Глобус Украины и России» и ни украинского, ни русского селезня из него не сделать.**

Великая сила — пропаганда, реклама, агитация, политическая обработка. Так называемый двадцать пятый кадр работает безотказно на уровне подсознания. И хорошо об этом сказал мой друг Алексей Можевитин:

*Я на границе с Украиной живу,
в Харькове кончил истфак ХГУ.
Не называю соседей хохлами,
были и есть мы, и будем друзьями.
Но иногда, в глубине, жалит гадом:
«Шо, відокремились?! Так вам и надо!»*

Во все времена сильные мира сего, как гулящую девку, подминали историю под себя. Безотказно работает цезарево «разделяй и властвуй». На мой взгляд «хлеба и зрелищ» ужесточилось до **«хлева и зверищ»**.

Помнишь ли ты, уважаемый читатель, чтобы Штаты, приобретя самостоятельность, когда-либо выступили против Англии? Не было такого. Почему же мы, два великих братских народа, украинский и русский, всё более удаляемся друг от друга? Я не против взаимовыгодного сотрудничества с Западом, но не за счёт уничтожения собственного производителя. Мы — не бедные родственники, которым можно сбрасывать объедки. Да и **никогда дядя Сэм не давал ничего даром**. Не нужны мы сильные, суверенные и могучие Западу.

*В лице НАТО
я не вижу мецената.*

Мы переживаем период первоначального накопления капитала. Никто с чистой совестью и руками

не приходит к власти, это невозможно. И ничего бы глобального не произошло, стань Юлия Тимошенко президентом. Просто она перестала бы быть Жанной д'Арк, а Виктора Фёдоровича «ушли» бы в глубокое подполье.

Не помню точно кто, Жозеф Местр, по-моему, сказал, что каждый народ достоин своего правительства. Он провозгласил аксиому, к которой хочется добавить:

*Ваше превосходительство,
относительно сердца моего,
каждый народ достоин своего правительства, —
достойно ли правительство Его...*

P. S.

В прошлом, 2011 году, Лина Васильевна Костенко выступала в крупных городах Украины с презентацией своей новой прозаической книги «Записки самасшедшего». Харьков встречал и провожал её бурными овациями и стоя. С большим трудом я приобрёл эту книгу и хочу сказать: Лина Костенко — большой украинский поэт, к творчеству которого я отношусь с большой любовью и уважением.

**ЛИНА
КОСТЕНКО**

МАРУСЯ ЧУРАЙ

Р о м а н в с т и х а х

*Вольный перевод
с украинского
Алексея Аулова*

*Ты — горизонт.
Но я тебя догнал.
И за тебя бессмертие отдал.
Мария,
ты — вершина из вершин,
равная
бессмертию души.*

А. Аулов

Раздел 1

ЕСЛИ БЫ НАШЛАСЬ НЕОПАЛИМАЯ КНИГА...

Летом 1658 года Полтава сгорела дотла.
Горели соломенные крыши над Ворсклой.
Плавилась купола деревянных церквей.
Ветер был сильный. Зловеще гудело пламя.
И долго ещё летал над руинами магистрата
невесомый пепел сожжённых бумаг —
всех тех книг городских полтавских,
где были записи повседневных судебных дел.

Может быть, там было дело и Маруси Чурай?
Может, потому и не дошло до нас
ни одно свидетельство о ней,
что их война сгубила?

А уцелела б книга, хоть одна, —
в монастыре, на чердаке, в подполе, —
да и явилась нам по Божьей воле —
неопалима — словно купина?

И мы б читали ветхий, древний том,
пером гусиным писанный,
о том,
что лета Божьего такого-то,
и месяца такого-то и дня,
перед Мартыном Пушкарём,
полковником,
в присутствии Семёна Горбаня,

(в Полтаве войтом* был сей муж во время оно),
перед судьёй, перед людьми,
пред Богом и законом —
Чурай Маруся
обвинялась в злодеянии.

А за дверью —
пол-Полтавы свидетелей в ожидании.

И загудела б книга голосами
людских страстей,
как бури над лесами,
над полем букв, бедою наклонённых —
да, наклонённых,
но... не покорённых.

Тогда бы старая Бобренчиха,
вдова,
суду сказала изболелые слова:
— *Пан полковник, пан войт, люди добрые,
где сил набраться, чтобы тут не помереть?!*
Она, Маруся —
ведьма!
Она отравила моего сына Григория!
Гриша никогда до этого не хворал,
а находился в полном здравии и при своём рассудке.
Перед богом, людьми и совестью своею
свидетельствую и обвиняю Марусю Чурай
в злодеянии бесовском.

Судья Марусю Чураивну
спросил сурово, как и почему,
по наущенью ли чьему,
по мести ли иль по другой причине
такое дело сделала.

* Руководитель местного (городского или сельского) управления или самоуправления.

Дивчина
ни объяснений,
ни оправданий,
ни покаяний не дала —
молчала, как скала.

Собрание, как осиное гнездо,
загудело люто:
*«Она созналась в отравлении прилюдно!
Не зря же к мёртвому Григорию припала,
сказала всё — как зелье страшное копала,
как полоскала,
как его варила,
как парня утром отравила».*

Тогда судьи,
удостоверившись на деле,
что Григорий умер
(отравленный в четверг),
до воскресенья похоронить его велели
и приняли ряд надлежащих мер:
*«Убивицу,
Марусю,
до расправы,
держат под стражей города Полтавы;
Бобренчиха ж, почтенная вдова,
пусть ищет к Господу дороги и слова,
свидетелей,
порочных связей не имеющих и честных,
и добродетелью известных,
дабы до сердца каждого,
до каждого ума
виновность девушки дошла бесповоротно;
не доказательство —
что девушка сама
призналась в злодеяньи принародно».*

На сказанное оглядываясь,
Параска Дёмиха
свидетельствовала:
*«Шила в мешке не утаишь, а душу от Бога не спрячешь.
Было так.
Вышла я как-то,
ещё рассвет не кукарекал...»*

«...грушу Лёвкину трусить», — подсказал кто-то.

*«Да что же это?! Господа судьи,
Лесь Черкес меня воровкой хочет выставить!»*

Тогда Черкесу и всем присутствующим было сказано,
чтобы речь свидетелей не перебивали,
иначе будут выдворены из зала,
а дверь на скобу накинута.

*«Так вот, я и говорю,
ещё петух гребня не вскидывал,
когда вышла я глянуть со двора на трубу —
дым в избу повалил, —
смотрю —
Григорий домой возвращается.
Откуда бы?
Навеселе идёт.
В рукав сермяги никак не попадёт.
Я и спросила, мы ж соседи:
«Эй,
и где ж тебя так, парень, зацепило?»
«Да чарку выпил у одних людей,
а возле сердца что-то заварилось».
Когда же вскоре слышу —
у Бобренков
великий гвалт.
Я огородами — туда.
Лежит Григорий, весь посинел уже,
хрипит и дёргается, раздирает ворот.»*

Тогда Бобренчихе я говорю:
«Кума,
болезнь-то, не иначе, колдовская!»

Что мы ни делали Григорию:
шептали, тёрли,
зелье священное клали под затылок,
водой мыли и переливали болезнь
на пса бобренковского —
не помогло.
Ещё невнятное он что-то бормотал!
Почти все плакали, кто там стоял.

В таких походах пуля обходила!
Не одолела врага рука!
А дома!..
девка отравила!..
такого казака!

Маруся же, которая свела...»

«Есть доказательства, что яд она дала?» —
перебил Дёмиху судья.

«А как же!
Кто ей жизнь младую изувечил
как ни сам Григорий?
Горе-то какое!..
горе!..
И крыть нечем!»

Свидетельствовал далее Фесько,
за мельницами и военною казною смотрящий:

«До гетмана далеко,
до Бога высоко —
скажу скорбящим.
Простите, если что не так.

Маруся — девка-смак.
Я много раз её с Григорием видал.
Что парень с девушкою —
это не беда...
Да ночь глупа и от села не близко
над Ворсклою у мельницы стоять.

Но, как-то,
глядь —
с дамбы тень мелькнула и в воду плюхнула.
Казалось,
Ворскла вскрикнула от боли.
Утопла, думаю.
Но, по Божьей воле,
Иван Марусю вытащил из реки.
То место — гиблое.
Там утонул мой шурин...»

Судья:
«Не по делу речь-то.
Печально, право, что всё случилось так.
Сочувствуем, что утонул свояк».

«Шурьяк, ваша милость...»

«Прошу прощенья.
Нам бы знать от вас не как топилась,
не с кем стояла,
а травила как?
Свидетель,
нам нельзя, чтоб уходила
речь в сторону.
А вы, как посмотрю...»

«Не знаю, как травила —
как топилась
видал я
и про это говорю».

Тогда Бобренчиха других свидетелей предъявляла.
Числом семнадцать.

Только мало
кто из них годен был к присяге —
бедняги
мололи что попало.

Одни сказали, что Маруся — ведьма,
Другие — нет в Полтаве хуже, чем она,
что смерть Григория — не вся ещё вина —
накаркала беду намедни,
и Савка покалечил Саврадима;
что из трубы умела выйти с дымом,
в сороку превращалась, наводила порчу.
Сама же пела про девичьи очи,
что могут казака любого заморочить,
лишь бровью поведёт, —
и сделает с беднягой, что захочет.

*«Высокий суд, прошу я извиненья, —
сказал Горбань с бумагами в руке, —
свидетелям о сути преступленья
ещё раз расскажу,
чтоб наши рассужденья
не лётали* по залу налегке.
Казак Бобренко —
вдовый сын Григорий —
единственный у матери.
Стал`быть,
вдова сейчас в таком великом горе,
что впору только голову склонить.
Казак четыре года был в походах.
О нём никто плохого не сказал,*

* «Лётали» — местное словечко.

был на Пиляве и на Жёлтых Водах^{}, —
езде,
где полк Полтавский побывал.*

*А этим летом он радел по дому:
хозяйство подупало за войну.
И захотелось парню молодому
вести в свой дом жену.
Вот и кинул око на дивчину,
что ровнею была ему,
казак,
с намереньем вступить в законный брак,
(я говорю про Галю Вишнякивну).
Чурай Маруся, что его любила,
любила, правда, верно и давно,
из ревности Григория убила,
подсыпав яд любимому в вино.
Сознательно ль,
во гневе ли великом —
никто не знает.
Ревность — не щадит.
Казак Григорий девушкой убит.
Она же —
здесь —
убийца с нежным ликом.
Высокий суд,
случилось — не поправить.
Пусть станет совесть ваша стражем права!»*

Посоветовавшись, суд велел
поставить перед всеми невесту Григория.

^{*} Пилявецкая битва 1648 — битва украинского повстанческого войска во главе с Б. Хмельницким против польско-шляхетской армии под местечком Пилявцы на р. Икве (ныне с. Пилява Старосинявского р-на Хмельницкой обл.) во время освободительной войны украинского народа 1648–54. Разгром польско-шляхетского войска в Пилявском, Желтоводском и Корсунском сражниях 1648 послужил толчком ко всенародному восстанию на Украине.

И вышла Галя Вишнякивна.
Про всё тактично суд расспросил её,
избегая щепетильных подробностей,
которые разбередили бы девушке душу.

Она призналась под присягой:
«С Гришейю любилась мы,
да что там говорить,
намеревались вместе век прожить.
Соперницу ж ни видеть и ни слышать
я не хочу.
Она его сгубила
и у него рассудок отняла.
Но это были прошлые дела,
давно ещё,
когда она топилась.

Ухаживал!..
Беда невелика.
Никто ведь не заставит казака
жениться.
И ушёл он от неё.
Она же за него, как за своё,
цеплялась
и осталась не у дел.
Григорий только на меня глядел.
Он в доме нашем был уже, как свой,
и обещал с гадюкой не встречаться.
Мы собирались этой осенью венчаться.
Отец потратился изрядно..
Боже мой!
Напрасно всё.
Напрасно!
Гриши нет.
Она,
она мне заслонила белый свет!»

*«Ну, коли так, —
судья изрёк степенно, —
скажите, почему в свой смертный час
жених ваш
у неё,
а не у вас
был?
Говорите откровенно».*

Тогда Вишняк-отец,
боясь паденья
престижа всей семьи,
просил, чтоб дочь
не спрашивали больше,
мол, невмочь
ей, с горя горького,
такие откровенья.

Сочувствуя,
заплаканную Галю
бабы отвели в свой бабий угол,
к подругам.
В беде
есть кровное родство
и искренность.
Углы такие есть везде.

Судья скамью окинул взглядом исподлобья:
«Что скажет нам убийца?»

Но она
молчала,
как сама себе надгробье.
Одна.
Среди чужих-своих одна.

Тогда сама Бобренчиха, вдова,
во всём как будто бы заранее права,

суду и людям изрекла:
«Молчит.
Ей стыдно.
Что виновата —
всем,
не только Богу,
видно.
И я всё знаю,
будто там всю ночь была.
Она к себе обманом сына затащила
и в гроб свела.
Распутница.
Стоит как агнец божий.
Но притворяется,
оставив где-то кожу
змеиную.
Душа её черна.
Не мудрено —
её душою управляет сатана.
Когда бы я о ней всю правду рассказала,
состарились бы, слушая рассказ.
И умерли б.
Свет белый завязала
она не только Грише.
Ни для кого из нас
не удивительно,
ни для кого не тайна,
что на скамье на этой девка —
не случайно».

Вдруг осенило Горбаня:
«Как на меня,
то было зелье колдовское у дивчины.
Не смог противиться Григорий и пришёл.
А зелье — разное:
кому-то хорошо,
кому с овчинку белый свет,
кому — кончина».

Судья сказал, что были случаи:
кому подлили где-то, как-то, что-то.
И одни валялись наземь с ног,
другие мучались,
а третьи гибли сотнями, как муравьи.
Но что-то тайной оставалось в деле каждом.
Вот и теперь всю правду вам никто не скажет.
Неважно, что было подмешано в вино,
убийство женскою рукой совершено.

Горбань сказал:
*«Сомнений нет.
Убийство есть.
Причина ясная, как день —
девичья месть.
Блуднице дёгтем надо вымазать ворота».*

«Его достаточно у войта!» —
крикнул кто-то.

И тут не лишним будет людям рассказать:
сумел до войтовства Горбань наворовать
премного дёгтя.
Но за это отвечать
почти что не пришлось ему.
Стал войтом.
А войт — фигура,
а не пьяница какой-то.

Пушкарь сказал суду, что так-то оно так,
нескромно девушке вести себя негоже.
Но и Григорий — не какой-нибудь вахлак.
И дёготь в этом сложном деле не поможет.
И неважно, что было за питьё,
что злость на девушку глаголит грязеустая.
Не кто-нибудь, а сам он совратил её,
потом смеялся сам над искренними чувствами.

Тогда вдова Бобренчиха озвалась:
«Да вянут уши от вранья.
Сама Григорию убийца навязалась.
А как?

Об этом знаю только я.
А было дело, люди,
на Петра-Капустника*,
Как раз на самый-самый солнцеповорот.
Я Гришу воспитала не распутником,
он уважал и дом, и огород.

Когда ж она его заморозила,
в Григория вселился злая сила
какая-то.
Как будто сына подменили —
хорошего забрали,
а плохого забыли.

Пускай расскажет вам и Процек Кулевара,
спросите у Капканчика,
Струка,
что я толку не воду в ступе,
что недаром
я надуваюсь, словно жаба на быка.

Он перестал ходить на вечеринки,
не трогал ни девчат,
ни молодух.
Вернётся от неё,
глаза воткнёт куда-то
и, как на поминках,
нем и глух.

О, люди добрые, она его ровесница,
пора и голову нацупать на плечах.

* 25 июня — Пётр-поворот, капустаник, солнцеворот — ошибочно считали, что 25, на самом деле — 22 июня.

*Настой полыни я ему, чтоб не зачах,
варила и мечтала —
перебесится.
А он — весь там! Как раз перед походом
мне не спалось, как на беду.
Григорий встал и — шасть за огороды,
а я тихохонько за ним след в след иду.
Остановилась по ту сторону от грядок лука,
а дальше Ворсклу припирает луг к горе.
Стою и думаю —
нет мастера на грех,
есть мастерица-мать на грешную науку.
Была обувка, лапотки свиные,
наружу остью, чтобы не шуршать.*

*Ковром душистым травы луговые
под ноги мне стелились не спеша.*

*К дождю густело небо.
Ни звездинки.
Легко метнулась тень от Чураёв.
Подумалось мне:
«Вот и вечеринки...»
Ах, Гриша, Гришенька!
Ах, горюшко моё!
Я затаилась за кустом, а мысли —
как грешники на медленном огне.
Она на Гришеньке-то вся так и повисла,
как ватная попона на плетне».*

*Хихикнул кто-то в зале неуместно.
Максим Пушкарь упёрся бровью в смех,
Бобренчихе ж:
«Нечестно, мать, нечестно.
Какой вас бес толкнул на этот грех?»*

*«Послал мне Бог лишь одного сыночка.
А с языков, как шелуха с руки,
уже летало:
«Чураивны дочка
зануздывает Гришу в примаки!»*

*«Ну ладно, ладно, если вам охота...
То дело ваше, хоть оно и грех.
Но почему ж вы с полуоборота
конец не положили той игре?»*

*«Чтобы к замужним поистёр подмётки?
Или попёрся к Таце Кисломёдке,
что истаскалась с кем ни попадя?
Хотя...
чего уж там...
не попадья ж».*

*Тут как подскочит Таця, как смережит
шуршащей юбкой на десять аршин:
«Орихна!..
Люди добрые!..
Что чешет!..
Ты на меня хоть, сука, не бреши!»*

*«Меня!..
Во лжи!..
Осмелилась лахудра!..
Да лейте мне смолы кипящей в рот,
коль вру!*

*Пускай Господь великомудрый
ту ложь с души и тела обобьёт!»*

*Вдове велели сесть и замолчать,
а Тацю — оштрафовать
на три фунта воска.*

Чтобы в церковь снесла
и впредь
посдержанней была.

После
свидетельствовал Капканчик Семён.
Он —
серьёзный и непьющий казак,
лучший друг покойного.
И он сказал:
*«Здесь каждый про Григория торочит
и то, и сё,
по делу и что хочет.
И так Григорий слухами оброс,
как сруб колодца льдом в мороз.
Кому сказать —
как из болота наковальню доставать.
Кому — как сплюнуть,
да за ветром...
Но словцо
и против ветра может полететь в лицо.
Своя душа светла, как день,
чужая — ночь.
И как тут правде выйти на люди помочь?
И что Григорий к двум ходил — не новизна.
Кто ж без греха из нас?
Обедал у Гали,
вечерял у Маруси.
И тот был вкусен харч,
и этот вкусен.
Как в песне той поётся
про три дивчины и про три колодца.
Казак из трёх колодцев пил
и три девушки любил.
Григорий две облюбовал,
ловил, да не поймал.
А надо было бы порвать на самом деле,
повременить,*

*полгода выждать,
и тогда
мы бы на свадьбе Галькиной гудели
и шли б домой хмельные,
а не трезвые — сюда».*

И зашумели в зале люди, головами закивали,
не весь же век в супружестве перетирали.
Вот и словечко кто-то из-под уса подперчил.
Всем стало ясно, мол, чья печь, того и рогачи.

Тогда Чураиха-мать встала
и сказала:
«Пан Пушкарь,
милостивый государь,
полковник полтавский,
и наш благодетель!
Что может мать сказать?
Вон сидит Туранский Илияш,
писарь наш.
Он меня слышит
и пусть мои слёзы запишет.
Душа чужая...
Чья бы ни была душа,
бывает малая, большая, никакая...
То тёмный лес,
а то болото в камышах,
а то, как море слёз солёное.
И грех большой
плевать в него —
имеешь дело с человеческой душой!
И чем же будете казнить дитё моё
затравленное?
Страшнее казни не придумать,
чем житьё
такое
вместо казни для неё.

*Вы грамотные,
знаете латынь.
За шаг до смерти,
до последнего «аминь»,
я об одном прошу,
как женщина и мать:
не надо словом грязным в дочь мою бросать!»*

*Притихли люди, и, казалось, вырос зал.
Омыла чья-то сердобольная слеза
речь матери.
Поднялся Шибелист Яким.
Вот, слово в слово, сказанное им:
«Прошу прощенья!
Я не мастер говорить.
Но и смолчать не в силах.
Выскажу участие.
Маруся с Гришей
вряд ли бы познали счастье:
снаружи — пара, но не пара изнутри.*

*Вон Чураихи горсть,
а горя — целый свет.
Была ль она когда-нибудь в суде?
Да нет!
Я ехал мимо их двора,
когда везли
в последний путь Григория.
И не могли
его вернуть ни силы зла, ни силы света.
Был казак — и нету.
Как оборвалась поминальным звоном тишина,
рвала ли мать родная косы, как она?
Григорий вырос на подворье Чураёв
с её Марусей,
и как сын был для неё.
Она своё дитя кормила
и чужое не забывала.*

Когда Бобренчиха за курку воевала,
межу к чужому дому от себя отодвигала,
Григорий во пору вошёл,
но не дошёл,
но не дорос он до Маруси,
не дорос.
Иное в сердце нёс.
Любил достаток он,
по-своему любил:
про беса думал,
а о Боге говорил.
И раздвоилась жизнь, как заячья губа.
Казалось, вот она, судьба.
Да не судьба.
Хотя сначала дело шло на лад и склад...
Отцы бы дожили,
то каждый был бы рад.

Ушёл отстаивать Григорий честь родной земли,
в Полтаве ж вербы и девчата подросли.

А как Маруся казака ждала с похода!
Четыре года отдала.
Четыре года
ни на кого не посмотрела из парней.
А ведь о ней
мечтали многие.
О ней
ходила добрая молва.
Совсем не та,
что нынче вымела вдова».

«Пусть Бог услышит слёзы вдови!» —
от рыданий
зашлась Бобренчиха.

Полковник же сказал:
*«Высокий суд,
Якому верю я.
Глаза
он не отводит,
как мурза к чувалу с данью».*

Но тут Горбань вмешался:
*«Вы на ложный след
людей наводите —
доверье — не при деле».*

*«Я слов на ветер не бросаю.
На пределе
казак не врёт.
Якому верю я,
вам — нет».*

*«Миряне!
Тут посланник от Сечи».*

...Вошёл, как гром, обветренный с дороги,
челом ударил.
(Вся и всё молчит)
«Полковник, Вам пакет от кошевого».

*«Добро. Садись и отдохни, казаче.
Какие новости?»*

*«Нас обступает враг.
Богдан под Белую собирает нашу рать.
Нужна подмога».*

*«Да, нелёгкая пора.
Но мы готовы.
Здесь не может быть иначе».*

«Потоцкий выступил навстречу Радзивиллу**.
Непросто было силу вражью одолеть».*

*«На силу всякую всегда найдётся сила.
Враг — на чужой,
мы — на своей земле».*

Полковник сорвал печать
и начал читать.
Пока он читал,
посланник осматривался,
привыкал.

*«Ну как тут, мирно?
Пишете бумаги,
язык ломая на судейский лад?»*

Мужи вздохнули:
*«Пообвисли флаги,
и, прямо скажем,
с ладом — не парад.
У нас казак погиб на той неделе».*

«Засада? Пуля вражья? Или бой?»

*«Нет.
Ревность и неверная любовь.
Отравлен был».*

*«Надеюсь, — не в постели?
Да!*

* Николай Потоцкий (год рожд. неизвестен) — польский военный деятель, с 1646 г. — великий коронный гетман, из магнатского рода; командовал в Берестечской битве (1651 г.), умер в том же году после Бело-Церковского мирного договора.

** Януш Радзивилл (1612–1655) — литовский коронный гетман; в 1651 году захватил Киев и жестоко расправился с населением.

Прямо скажем,
брага — не из кислых.
Под Белой Церковью стоят полки.
Горит столица.
Выжжены Трилисы.
А тут от яда гибнут казаки!
Трещат кордоны.
Смерть.
Люта порубка.
Нехватка пороха, оружия, людей.
А тут — погиб...
Случаем, вы на юбки
не перешили ваших хоругвей?»

«У нас, у вас...
Вы — Сечь,
а мы — Полтава.
У вас — права,
а мы — на страже права.
Как за убийство ваша судит Сечь?»

«Живым убийца в землю должен лечь
в одном гробу с убитым по злобе».

«Такой не позавидуешь судьбе».

«Да и такой,
чтоб задом сесть на вилы,
или казачка зельем отравила.
Придомные,
придамные, и смерть
такая ваша,
а рекут — убито.
А запорожцы —
люди без круть-верть —
в лицо,
открыто,
на своё копыто

*всё говорят.
Жевали б жвачку, как волы,
или, как вы, чесали языками,
не то, что ляхи, куры б загребли,
и на галерах турки б извели
всё то,
что называлось казаками.
А девушка...
Лицо-то — как с иконы!
И вы собрались ангела казнить?!
А надо те законы изменить,
что писаны
не по любви законам.
Отчизне изменить —
смертельный грех.
Но кто сказал — не грех — в любви измена!
Она,
познав греха чужого цену,
готова,
как Христос,
платить за всех».*

*Судья, волнуясь:
«Здесь нельзя с разгона.
Необходима мудрость Соломона».*

*Казак в ответ:
«Замудрствовались вы.
Хватило б сердца здесь и головы».*

*Взгорелось несогласье меж мужей.
Тот — палец вверх,
тот палец — вниз уже.*

*Лесько сказал:
«А мне — невмоготу.*

Ивана Искру жаль до колик в сердце.
Любил он Машу,
никуда не деться,
за песню, за красу, за доброту.
Молчит, как Маша,
сам себе не рад.
И с чёртом дрался бы,
не то, что с ляхом.
Теперь завидует тому, кто выпил яд,
идти готов вместо неё на плаху».*

В свидетели никто не торопился.
Судья поднялся.
Шум немного смолк.
Полковник у судьи перепросился:
на Белую готовить должен полк.
Пошёл, подвинул войта и бурмистра.
Простонародье расступилось на аршин.
Ушёл с послем.
За ними вышел Искра
и кое-кто из полковых старшин.

Второй день суда.
Лишь тот, кто умер, не пришёл сюда.

Предупредили Чураивну, чтоб она,
обвиняемая, то есть, сторона,
представила свидетелей, достойных веры,
своей правдивостью примерных.

Заседание открыл судья:
*«Закона слуги,
мы одной заботою полны
судить по правде всех,
невзирая на чины,
награды и заслуги.*

* Искра Иван Яковлевич — реальное лицо (Г. р. не известен — 1659). Казацкий полковник. Погиб в бою в восстании против Выговского И. Е.

*И ныне цель преследуем одну:
выявить причины,
что подсудимой облегчили бы вину.
Она ж кивает вновь, что с нами не согласна.
И так, мол, ясно,
что виновата лишь она одна
и наказание за злодеяние нести должна».*

Тогда,
услышав такие слова,
вне судейского списка,
держала речь ещё одна вдова,
Ящикха Кошова:

*«Скажу, что знаю,
что сердцу близко.
В моём дому — детишек мал мала...
Муж в Приазовье голову сложил.
Служил бы суд сейчас, как он служил.
Всё бросила,
издалека сюда пришла,
хотя давно не при здоровье.
Но суд вершится нынче над любовью!
Нельзя за горечь осуждать полынь,
нельзя судить любовь.
Нельзя.
Аминь».*

Тут Горбаня — от пяток и до носа —
скрутила корча:
*«Правильно, что Сечь,
как монастырь мужской для долгокосых —
на семь замков.
Некстати ваша речь».*

Судья сказал:
*«Я много лет в Полтаве
судьёй
и много всякого на свете повидал.*

*Всего себя закону отдавал,
а в этом деле думаю —
а вправе ль?..»*

*Но всё же, встал,
упёрся в стол руками:
«Мы выслушали многих, кто сказать
хотел и... не хотел.
Теперь за нами
судьбу вот этой женщины решать.
Но вы должны, коль что-то позабыли,
припомнить всё в последний этот день,
и рассказать,
без тени на плечень,
чтоб мы по правде дело порешили».*

*Молчали все.
Писца перо скрипело.
И мы сейчас,
ему благодаря,
узнали, что
на свете **было** дело,
а не слетело зря с календаря.*

*Узнали, что
полковник выдал слово,
достойное мужчины и бойца:
«Высокий суд,
ни для кого не ново,
что жить не должно
правде без лица.
Достойны та и эта мать участия.
Прошу прощенья,
но свершилось зло.
Казак лишил не только деву счастья,
он честь её поставил на излом.
Ей этот суд уже страшнее ада.
Не может грешник так себя вести.*

Любая казнь ей нынче как награда.
Не судят дважды.
Да и нам бы надо
ей,
как Господь,
поверить и простить.
Казак покойный
верящему сердцу
обязан жизнью был в походах тех.
Но, предав,
оказался в пустоте,
как между двух дверей
в холодных сенцах.
Не в силах люди промысел Господний
деяньями своими заменять.
Но как уйти на смертный бой сегодня
и не поверить тем,
кто будет ждать?!
Такое, люди, дело не простое.
И не спешите намертво судить.
Душа живая ничего не стоит,
бесценный дар она тем,
кто достоин.
У мёртвого души не может быть».

Гук, атаман,
в зал крикнул:
«Надо честно,
по правде надо девушку судить.
Всё может, люди, быть,
всё может быть,
неправде только среди нас не место».

Горбань,
как бросил соль в глаза:

«Миряне,
по правде ясно, кто кого убил.

*Она яснее от того не станет,
что мы узнаем,
кто и как любил».*

*«Но забывать, —
ответил Гук, —
не надо,
кого кто предал,
кто кого терзал.
У вашей правды белые глаза,
горбата и бельмаста ваша правда».*

*Горбань в ответ:
«Единой правды нет.
Они у нас, пан атаман, различны.
Есть право Магдебургское*,
и лет ему, ой лет...
А ваша правда — личная.
Есть много правд,
но испокон
для всех единый должен быть закон.
Что скажут люди?»*

*«Люди безглагольные.
Пускай, —
судья сказал тогда, —
сердобольные
покинут зал полтавского суда.
Мы здесь четыре раза собирались,
а как травила,
так и не разобрались.
Молчит она,
убивица.
Тем паче,
всё в дело надобно включить.*

* Магдебургское право — с 13 века в Европе. На Украине с 1339 по 1835 гг. (В разное время в разных частях.)

*И в горе мать,
и Вишнякивна плачет, —
она ж молчит,
о чём она молчит?
Такого век не видела Полтава,
такого суд ещё не примечал,
чтоб так преступник относился к праву,
пренебрегал им и молчал».*

*Засуетились люди, зашумели:
«Выходит, на законы наплевать.
А ведь откудова у девки зелье,
что может человека убивать?
Ведь до чего дошло —
Друг друга хаем!
Уже ли до согласия не дойти?
А надо знать всё то, чего не знаем
и беззакония не допустить».*

*«Помимо прочего,
мы так все заморочены, —
сказал судья, —
но кто ей помогал?
На вид Мария — дева непорочная,
но что за тихий омут в берегах?»*

*Но есть в запасе и на этот случай
у нас палач.
Пусть пораспросит он...»*

*«Уже ли надо мучить?!
Да это ж аспидский закон!»*

*Лесько как рявкнет:
«Белены объелись! —
да как достанет саблю... —
Так-растак!»*

Судейские на парня налетели,
гуртом повисли, но не одолели,
стряс богатырь их,
как медведь собак.

«Кого?

Меня!

Чернильные душонки!

Бумажные дешёвки!»

И напрямик,
в одном прыжке,
горяча —
такого парня кто держать рискнёт?! —
саблей по столу как рубанёт
со всего плеча!

Народ отпрянул.

Дёрнулся судья.

Сердечко войта застучало в голенище.

Клинок сломался.

Стол же, как стоял...

Так и стоит дубовое столище!

«Полковник, это что?!

Об саблю об мою

щербилась мечи немецкие.

Шеломы турецкие,

панцири шляхетские

Лесько Черкес разрубывал в бою!

А это — нет!»

Иван в ответ,

опередив полковника:

«Оно старо, как свет.

Да крепость вражью легче взять.

А стол стоял, стоит и будет век стоять».

Иван с Леськом бывали в битвах вместе
и выходили с доблестью и честью.
Лесько ещё немало побед отпразднует
и отчебучит* штуку не одну.
Он станет побратимом Стеньке Разину —
Леськом Хромым —
погибнет на Дону.

И встал Пушкарь.
Людей обвёл очами.
Платки, очипки, свитки, жупаны.
И голова над мощными плечами
была как башня в шапке седины.

Он много бед ещё перебедует.
О нём в народе думу пропоют.
Пройдёт семь лет — и голову его седую
Выговскому на пике подадут**.

И он сказал:
*«Прощенья преступленью
не может быть
и надобно судить,
но чтоб не вызывало удивленья
или сомненья,
что суда решенье
несправедливо.
Что тут говорить,
суть нашей жизни
и её основа —
закон.
Законы дадены судам.*

* Отчебучить — сотворить что-то дерзкое.

** В 1658 году Выговский Иван Евстафьевич (год рожд. неизвестен — 1664). Гетман Украины после Богдана Хмельницкого. Открыто выступал против России. Был расстрелян по приговору польского полевого суда.

*Но своего согласия не дам
на пытки я,
моё такое слово».*

Сидела Галя панною ухоженной,
сидел Иван с опущенным челом.
Сидели судьи за большим столом,
верша,
как им казалось,
волю Божью.

Судья, поднявшись, обратился к залу:
*«Нам колебаться не пристало.
Убийцу предать смерти решено,
но
способом каким
она умрёт — определим.
Что скажут нам советники и возный*
пан войт?
Нам важно мнение полтавчан».*

Поднялся Искра, полковой обозный,
сын Остряницы Якова**, Иван.

Погибнет тоже,
множа
Украины славу,
вскоре после Пушкаря,
возвращаясь от московского царя
к пеплу Полтавы.

Сам бел, как мел,
а под глазами — темень:

* Возный — должностное лицо, выполняющее распоряжения суда — в Польше, Литве, на Украине до 19 в.

** Остряница (Острянин Яков, — г. рожд. неизв. — 1641) — казачий полковник реестровых казаков, руководитель восстания против польской и украинской шляхты.

«Люди добрые,
послушайте меня.
Один стреляет подсудимой в темя,
другой дерётся за неё со всеми,
но большинство —
за линией огня.
Здесь показаться сумасшедшим не боюсь я.
Скажу о главном,
ну, а вам решать.
Чурай —
не просто девушка-Маруся,
она —
наш голос, песня и душа.
Когда казачья шла в поход батава*,
Маруси песней плакала Полтава.
Маруси песни с саблей наравне
(а то и выше)
были на войне.

Вы ищите ей способ умерщвления,
она ж от одиночества немая.
Вы судите,
того не понимая,
что у неё должны просить прощенья.
Закон суров.
Его я не нарушу.
И боле боли к этой не придам.
Маруся песнями испела душу
и эти песни оставляет нам.
Осталось приговор исполнить праву,
и на земле не станет Чураёв.
А как же песни будет неть Полтава?
А слёзы не задушат ли её?!»

Накрыла тишина людей,
как страшным сном.

* Батава — пеший казачий строй.

Горбань сказал:
*«А песни здесь причём?
Хоть в частности,
хоть в целом,
она здесь по совсем другому делу.
Да и, — хи-хи, — слушок прошёл в народе,
что сей свидетель, в некотором роде,
помимо песен,
свои имеет к делу интересы,
заинтересованное, так сказать, лицо,
и, в конце концов,
его слово не имеет веса».*

Достойные особы
дали Марусе последнее слово —
не держит ли сердца на суд
и перед тем, как услышать приговор,
не хочет ли слезу покаянья обронить.

Подсудимая очей слезами не оросила
и прощенья не просила.

Взвесив, додумав
и не единыжды посовещавшись меж собой,
кондициями права посполитого
суд изыскал ей приказ такой:

**Мы, опершись на свидетельства голые,
присуждаем казнить подсудимую на горле.
То есть, она
должна
быть на виселице
повешена.**

О чём людей почтовых извещаем
и вносим во грядущие века.
Декрет печатью нашею скрепляет
и подписью
судейская рука.

Раздел II

ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК ВЫХОДИТ НА ЗАРЕ

Багряно солнце. Дужка золотая
стоит над чёрным овалень* горы.
На пять ворот Полтава, запираясь,
тихонько прячет очи в яворы.

Склоняет вечер голову помалу,
колышет звёзды в темени криниц.
Часует страж по городскому валу,
и совы спят в западинах бойниц.

«*Не спи! Не спи!*» — Куриловские врата.
«*Не спи! Не спи!*» — от Киевских ворот.
Стоят возы почти у каждой хаты.
Полтавский полк готов идти в поход.

Далёкий путь опасен и неведом,
но он — с благословенья матерей.
А что там будет — смерть или победа —
Полтавский полк выходит на заре!

Там бой гремит. Там гибнет наша воля.
Нужны там руки крепкие парней.
И до отдельной ли девичьей доли
в лета недоли Украины всей?..

* Овалень — огромный округлый камень. Ударение в слове на первом слоге.

И купол неба звёзды прожигали,
сычи кричали — вестники беды.
Полтава на сто горьких дум молчала.
Сторожко ивы спали у воды.

Свершился суд по праву, как положено.
И некого, и не за что корить.
И всё ж Полтава, правом огорошена,
молчит — перехотелось говорить.

А что подеешь? Времена кровавы.
На пике славы слава и хула.
Промчался громом всадник по Полтаве —
а сердце града молонья прожгла.

По тишине ударило копыто
и утонуло в бархате травы
за рвом полтавским.
Тот, кто двух небитых...
как Святослав, уже «пошёл на Вы».

Своей судьбе уже он сделал вызов.
Иваном Искрой всадника зовут.
Послал полковник к гетману.
При жизни,
таких, кака Искра, в рабство не возьмут.

Как никому, ему сейчас не сладко.
Украине разве...
То-то и оно.
Любовь любовью,
но по распорядку —
война.
Война.
Иного не дано.

«*He спи! He спи!*» — Куриловские врата.
«*He спи! He спи!*» — от Киевских ворот.

Стоят возы почти у каждой хаты.
Полтавский полк готов идти в поход.

«Коней кормите!»

«Нелегко в походе!»

*«Блюдайте славу, честь и имена!
Полтава на рассвете вас проводит,
слезами орошая стремя»...*

И до рассвета, после полуночи,
не одолеет сон девичьи очи.
Сухими будут лишь глаза Чурай.
А как Маруся плакала вчера!

Раздел III

ИСПОВЕДЬ

— Жизнь истекла.
А стоила ль овчинка?..
Уж как-нибудь
переночую в смерть,
что унесёт обиды и причины.

Не смерть страшна —
а ничего не сметь.

А что ещё от жизни надо мне?
Отбыть, что перестало быть в цене.
Отбыть всё то, что будет на виду,
уйти туда, куда меня ведут.
Скорей бы эти хлопоты отбыть
и никогда не быть уже, не быть!

Три дня на размышленья дали...
Три капли слёз — на океан печали.
А сколько здесь сидело до меня...
Три дня надежды были им, три дня!
А мне зачем?
Пора на Божий суд.
После надежды
люди не живут.

Сидели здесь, наверно, и убийцы,
и провели последнюю зарю.
Навряд ли кто сказал бы, что счастливыцы —

те смертники,
а я вот говорю

и преклоняю здесь свою усталость
за столько дней, за столько долгих лет!
Я не узнаю, что такое старость —
ни сожалений, ни желаний нет.

Какая ты, такая и расплата.
Невозмутимый каменный мешок.
Ещё чуть-чуть и будет плоть распята.
Ах, поскорей бы этот час пришёл.

Тюрьма.
Одна.
Несвежая солома.
И тишина, которой нету тише.
Убийцам не положены хоромы,
а я — убийца, я убила Гришу.

Своей судьбой больны неизлечимо,
Бредём, куда положено кому...
Подбросил кто-то старую овчину.
Пожалуй, лягу, посмотрю во тьму.

...А я уснула, Господи, уснула!
И сладким сном —
за много-много дней
впервые,
будто в Ворскле утонула,
причём
хорошее приснилось мне...

Проснулась и никак не разберусь я —
чего я здесь,
убийца кто?
Маруся?!

И я себе самой далёкая,
как будто аист только что подбросил
меня в избушку к добрым Чураям,
и всё вокруг так солнечно-курносо.

И каждым добрым утром, просыпаясь,
я снова начинаюсь,
начинаюсь.

Истома сладкая.
И солнца бледный лучик.
Спать — хорошо,
не просыпаться — лучше.
А я проснулась.
Господи, проснулась!
Реальность снова стала палачом.
Проснулась?
Нет.
Я с жизнью разминулась,
едва-едва задев её плечом.

На ощупь встала с пола,
отряхнулась,
не расчесавшись, косы заплела.
Пошла туда —
на стенку натолкнулась,
пошла сюда —
на стенку натолкнулась.
Решётка.
И — ни стула, ни стола.

...А вот рассвет на свет благословился.
Рассвет на свет...
На этот грустный свет...
Напрасно ты в тюрьму мою ввалился:
«Маруся!»
А меня на свете нет.

А где-то кони ржут,
играют сурьмы,
в литавры бьют.
И память напряглась,
рисует, как мороз на льду,
рисует
прощанье с Гришей...
Вот и дождалась.

Душа рванулась — но решётка.
Руки
прозрачные
с решёткою сплелись.
Казалось — металлические прутья
пройдут сквозь сердце,
обрывая жизнь.

Шум городской темницу наполняет.
А я тебе ни слова не скажу,
впервые я тебя не провожаю
и никогда уже не провожу.

Мать слёзы льёт, заплакана дивчина,
Но всё ж без горькой горечи слеза.
Погибнет хлопец,
но за Украину,
по-людски, как мужчина и казак.

Поляжет много тех, кто край боронит,
обороняет испокон веков.
Ты ж на погосте старом захоронен,
где не полёт никто из казаков.

Сгорают звёзды в солнечном восходе.
Идут бои, тяжёлые бои.
Впервые,
Гриша,
без тебя выходит

Полтавский полк,
товарищи твои.

Наверно, уж молебен отслужили.
Колокола Полтавы затужили.
И загудели, загудели, загудели,
чтоб победили, воротились, уцелели.

Выходит полк
за дальние
за дали...
Кому-то тополь станет в головах.
Сошлись в единую надежду все печали,
надежду нашу,
что живёт в колоколах.

Заткнула уши,
чтоб не слышать,
чтоб не слушать
рыдающий вдогонку хлопцам горький звон.
Но через стены,
через сердце входит в душу
со всех сторон,
со всех сторон,
со всех сторон...

Тюремной церкви тоже сердце бьётся.
«Для Всех Скорбящих Радости»
её
так называют.
Всё во мне смеётся!
Я радуюсь, и всё во мне поёт!

Измена,
ты меня испепелила.
Свободна я смеяться, даже петь.
Свобода — сила,
неизведанная сила,

бывает равною которой
только смерть.

Колокола,
колокола весь мир шатают...
И «*Всех Скорбящих Радости*» колокола
впадают в общий звон,
как в океан, впадают...
И я впадаю,
я свой путь уже прошла.

Колокола всю Украину раскачали.
Шумят, смеются, плачут полтавчане.
В такие дни дела и помыслы чисты.
А полк уйдёт, и будут улицы пусты.

И только я,
и только я одна — чужая,
от жизни города родного — в стороне.
Всё то, что сердцу близко, дорого — в огне,
а я за стенами отдельно догораю.

...Уходит полк туда, где смерть и гром орудий,
где кровь и боль, где сабель звон и звон мечей.
И под хоругвями уже другой хорунжий,
а Гриши нет.
А я жива ещё...
Зачем?!

Слезами женщины дорогу перемыли.
Погиб казак ни за понюшку табака.
А хоть флажок на крест Григория набили,
чтоб видно было, что могила казака?

Промчался всадник.
И уже за воротами
копыта пробуют на прочность битый шлях.

Украину пробует на прочность лютый лях...
А милый мой — не с казаками.

То пыль, как дым,
то дым, как пыль ...
В градах и весях —
колокола...
И между ними нет межи.
Впервые полк выходит из ворот без песни.
Прощайте, хлопцы,
мне уж песню не сложить.

* * *

—...Ещё одна ночь.
Звёзды — солнца брызги.
Воспоминанья,
при большой луне,
слезами не омытые при жизни,
прощаться с жизнью
шли и шли ко мне.

В году нет ярче и главнее ночи,
чем на Купала.
Радовались очи,
большого неба впитывая свет.
И нам двоим — по восемнадцать лет.

И трепетно-несмелые уста.
И так до солнца —
ночь и высота.

Припомнилось:
гора и колесо
катящееся, пламенем объято.
Смеющиеся хлопцы и девчата.
И то ли искры от него по сторонам,

а то ли звёзды,
как хотелось думать нам.

Девчата, в плахтах* и в монистах,
венки пускают за водою.

У каждой —
собственные мысли,
но так похожи меж собою.

Плывут венки,
и мой плывёт, не тонет.
А сердце не готово к обороне,
но я его мелодию пою.
Снимают черти зори рогачами...
Плывёт веночек за тихими ночами...
Или к причалу доброму причалит,
или на дне речном найдёт приют.

Когда же,
позже,
треснуло весло,
и подхватило лодку, понесло
и закрутило на водовороте,
тогда и оборваться бы летам.
Душа стремится в детство,
только там
тепло, светло ей
солнышка напротив.

...Фасоль, бывало, мы под вечер лушим,
подсолнухи гудят, как тулумбас**.
А Гриша дыбаёт*** и светится, как лучик...
Ах, лучик-лучик,
освети мой смертный час.

* Плахта — женская одежда типа юбки.

** Тулумбас — старинный ударный музыкальный инструмент.

*** Дыбать (диалект) — ходить туда-сюда.

Был прехорошенький такой
и, как телёнок,
предобро-ласковый,
с печалинкой в очах.
Как всякий мальчик, иногда озорничал
и палкой
(что-то наподобие меча)
рубил высокотравью головы.

С пелёнок
повсюду вместе мы —
на речке, на лугу,
в лесу орехи рвём и прыгаем с откоса.
Ах, детство-детство —
не игла в стогу —
ни дать,
ни взять,
ни бросить.

Еще мы с Гришею ходили к деду
послушать были
или просто так, проведать.
Дед был галерником,
и балку, где живёт,
Галерниковою назвал народ.

Есть у него и заросли малины,
крыжовник есть и красная калина,
тропиночки таинственная нить,
ходить по ней бы и ходить...
И ульи есть, и в жёлобе водичка,
изба, как старенькая рукавичка,
а в «рукавичке» — кот, сверчок и дед.
Одна беда —
родни у деда нет.
Детей бог не послал.
То на галерах был, то воевал,
то по степи за ветром гнался ковылём.

Жизнь прожил бобылём.
Рассказывал про пленниц и про Крым,
выстругивал нам «чаек»* из коры.

Мы, колядуя, помню, ходим
и тоненькими голосочками выводим:
«Ой на речке Иордани
Пречистая ризы полоскала».

Крест вырубают ледяной на Ворскле к празднику,
зальют водою и вморозят в лёд,
свекольным квасом обольют,
и вот —
раскроет крест свои объяття солнцу красному.

Зима мостом соединяет берега.
И два народа верб вот-вот сойдутся.
Но корни уговорам крон не поддаются
и не желают знать ни друга, ни врага.

Зима-зима — для детства светлая пора.
Дни короткие, но белизна —
подмога солнцу.
Толкает санки книзу каждая гора,
но наше детство
на вершине остаётся.

Уже тога была я без отца,
и мне коньки смешные мама смастерила.
А я в отца пошла,

*«Хоть воду пей с лица.
ТЬфу на тебя!» —*
мне мама часто говорила.

* «Чайки» — казацкие челны.

Ах, детство-детство,
санки нас не растрясли,
сугробы стояли, и улеглись метели.
Мы голодали, холодали, но росли,
хотя не так уж быстро,
как хотели.

Зима гневится, что, вот-вот, и убежит,
одежды сбрасывая до костюма Евы,
чтобы удобней было, легче,
чтобы жить,
до года нового,
у Снежной Королевы.

Но вот поют уже и хоругви несут.
Идут Бобренки, Гуки, Шибилисты...
На белоснежную, на чистую красу
глаза монголятся, боясь летящих искор.

Дьяк бородёнкою кивает, поп басит.
Идёт гурьба, но каждый —
со своею данью.
И каждый в этот час особенно красив
и Ворсклу делает своею Иорданью.

Сорвало солнце с голых веток вороньё.
На белом запестрело наше разноцветье.
И из-за пазухи Гришутка достаёт
голубку с голубем.
И все в тот день как дети.

Стяг развевается нерукотворным Спасом.
Вода святая пляшет —
рада видеть свет.
Прекрасен праздник,
этот мир прекрасен,
когда в нём зависти
с корыстью места нет.

Вода под лёд бежит,
на солнце остывая.

Живёт надеждою и верою народ.
Я маму спрашиваю:
*«Мам, вода — живая?
Когда омоем раны, папа оживёт?»*

Я не забуду Вас,
мой самый лучший папа.
Спасибо Вам, что в школу отвели меня.
Я помню первых книг неповторимый запах,
как хлеба запах
и открытого огня.

Казачья школа... Разговор особенный:
худые стены — глина да лоза —
на пол-окна зажмурены сугробами.
Стол, три скамьи, псалтырь и образа.

Аз-буки-веди... Что тогда я ведала?
Не вникла в суть ни чтенья, ни письма.
Домой бежала — снегом пообедала.
Аз-буки-веди... Голод и зима.

На косяке дверном лёд намерзает в сенях.
Стоят в углу без дела рогачи.
Перелузгали зиму на печи
до воскрешения весны,
до воскресения.

...От папы вести не было полгода.
Кузьма с Демьяном разошлись в пути.
Живым в Полтаву из того похода
никто из казаков не смог прийти.

Ходили слухи, что Павлюк* не выждал,
что те Кумейки** — то кровавый снег.
И только сдавшийся на милость вражью выжил.
А мой отец — Гордей.
Он не из тех.

Содрали с Павлюка живого кожу.
Ещё с ним взяли четверых старшин.
И враг над ними суд такой вершил,
что Страшный суд страшнее
быть не может.

Потом их головы
на обозренье
выставили в градах полковых.
Думалось врагу —
для устрашенья.
Но раскаляло горе гнев живых.

Увидев этот ужас,
мать упала.
И крик замёрз на маминых устах.
А для меня померкло всё,
пропало.
Метель и смерть...
И вся земля пуста...

Метель и
смерть танцуют хищно-пьяно
и льдистыми серёжками трясут,
как будто голову святого Иоанна
над белым светом Ироду несут...

* Павлюк (Бут Павел Михнович, г. р. неизв. — 1638) — гетман нерестрового запорожского казачества, руководитель восстания 1637 г. Казнён лютой казною в Варшаве.

** В бою у села Кумейки (ныне Черкасская обл.) 1638 г. повстанцы были разбиты.

Для нас настала горькая пора.
Печальны были наши вечера
святые.

Через год, и два, и три
колядники стояли у двери
и пели:

*«Эй, хозяин, а ты дома?
А то мы пойдём к другому!»*

А память о нём,
об отце моём,
под образами
головою на руки упала.

...Как-то шёл кобзарь через Полтаву.
Все обступили, просят, что кому:
один про сироту,
другой про славу,
тот про Азов,
а тот про Кодыму* ...

И я стою себе тихонько с краю.
Кобзарь пел про невольничьи года.
И вдруг про Орлика я слышу,
Про Чурая!..
О как же я наплакалась тогда!

Идёт кобзарь по городам и весям,
про Орлика Чурая он поёт,
что принял смерть,
но воротился в песне,
теперь его никто уж не убьёт.

Вдруг обожгло мои печали Слово,
как обжигает бандурист сердца.

* Кодыма — река, правый приток Южного Буга.

Я повзрослела с думой про отца.
Я сорвала с моей души оковы.

...Я молодую маму вспоминаю —
одна такая.
И непохожа на ровесниц и похожа.
Всё, как у всех, но, все же,
когда печалью наливались очи,
смеялись губы в самых уголочках.

Она мне говорила: *«Больно будет,
скулить не смей, не ной, не причитай.
А душа слёзы — не иди на люди,
щеди — свои, чужие — почитай».*

Как горе горькое случилось с нами,
когда не стало мужа-казака,
так и ходили хлопцы табунами,
чтоб хоть увидеть мать издалека.

Да и отец был...
Глянешь — сердце радо.
Не отвернётся, если что решил.
Видать, судьба их сблизила в награду
за чистоту и доброту души.

Глядела я на них и думала:
*«О Боже!
Какая пара — мама и отец!
Когда я вырасту, любовь я встречу тоже
и с ним,
с любимым, встану под венец».*

Вот я и выросла.
А встретила ли принца? —
остался в сказке,
выдуманной мной.

О принце только в сказке говорится,
но к сказке не дотронуться рукой.

Видать, за то и ранняя могила.
Сгорев, дотлею угольком в золе.
Моя любовь со звёздами дружила,
Его любовь ходила по земле.

Как, бедный, он намучился со мною!
Каким бы ни был — я была другою.
Он покупал — я отдавала даром,
и потому не получилось пары.

Он звал меня, а я не отзывалась.
Запутался — сказала: «Выбирай».
Напополам сердечко разрывалось.
Но он — Бобренко, он же не Чурай.

Чурай свою судьбу увидел:
*«Ты моя.
Мы были порознь, а теперь у нас семья.
Что стены голы —
правда не богата.
Войдёшь в шалаш —
и он уже палаты.
На завтрак улыбнёшься ты с утра —
и каша сладкая из топора».*

У Гриши же совсем другая хватка:
*«Коль злыдни к злыдням —
не бывать достатку.
Богатому и чёрт дитя колышет,
а бедному и ангел не родня.
А если мать земельки не отпишет,
то буду я, что сбруя без коня.
И свадьба, думаю, влетит в копейку,
она ж — не рукава для телогрейки».*

Аж мать моя не утерпела:
«Так негоже.
Земля, земля...
А небо где твоё?
Не разошлась душа бы на прохожих.
Не удержать без совести её».

А он вернулся из-под Берестечка*.
Избороздив гладь ясного чела,
боль поражения на сердце легла.
Не вытянешь, бывало, и словечка.

Он гостем стал неласковым, несчастным.
Но вдруг с размаха, что косою — росу:
«Да воровать, Маруся, надо счастье!
Его на блюдечке не принесут.
Со свадьбой надо погодить немного.
Не всё же горстью — крохи со стола.
И то добро, что ты не понесла.
Не будет пересудов, слава Богу.

Гневится мать,
мол, я во тьме блукаю.
И мне сквозь темень не видать ни зги.

не печка — от мороза не спасает.
Любовь, мол, — не тулуп, не сапоги,

А я мамаше поперёк — ни слова.
Не так воспитан. Что там говорить!
Жениться, значит снова начать жить,
а мы — со старым скарбом — не готовы».

Бобренчиха всё губы поджимала
и Гришу ни на шаг не отпускала.

* г. Берестечко в Волинской обл. Битва 1651 г. закончилась поражением казацких войск и Белоцерковским договором.

А повстречала маму у криницы —
о громе...
о погоде...
о бычке...
что был хорошим гетман Остряница* —
и добрая молва о Вишняке.

Летит, мол, время и — быстрее птицы,
что с каждым годом всё труднее жить.
Что жизнь одна, другой не одолжить,
и та, что есть, уже не повторится.

Мол, хорошо бы Бога попросила,
и дочь пошла б за гетманского сына.
И Гриша бы тогда остепенился
и на хозяйской дочери женился.

А мать — ни слова. Но, как за больной,
с тех пор, ходить вдруг начала за мной.
Смотрю — и в церковь старостью пошла
совсем другой дорогою, окольной.
Спросила — «Почему?» —
*«Да не смогла.
Мне то подворье даже видеть больно.
Святою бы водою окропила,
в их сторону и шагу б не ступила».*

*«За что Вы, мама, невзлюбили Гришу?
Какая мысль покоя не даёт?»*

*«Душа у парня раздвоилась.
Вижу,
как полдуши он чёрту продаёт».*

*«Не верьте, мама, он такой хороший,
он клялся, мама, что навеки мой».*

* Остряница — Яков Острянин, с 1638 по 1641 год гетман неерестрового казначества.

*«Ах, дочка, нет, он был хорошим в прошлом,
а нынче путь у казака другой:*

*путь на достаток вишняковой хаты,
на кралю Галю, сундуки добра.
А что искать у нашего двора...
Ведь мы, как мышь церковная, богаты».*

*«Но это ж Гриша!
Он казак, он рыцарь.
Такой один на целый Божий свет.
Он гордый,
он в чужом не будет рыться
и если «да» сказал,
не скажет «нет».
Для Гриши деньги дыма не дороже,
он мной, как Вами наш отец, богат:
всё золото, что он в Золотоноше*
взял,
это Вы — его бесценный клад».*

*«Ой, дочь,
ушедшего не догоняют.
С руки наевшись,
гуси не взлетят.
Отец — из тех,
кто первым умирает,
Бобренки ж — те,
что сладко жить хотят».*

*Я не прислушивалась поначалу,
потом почувствовала и сама,
что птица счастья в людях одичала,
что было волей, то теперь — тюрьма.*

* Золотоноша — родина матери Маруси, город в Черкасской обл.

Не всё списать возможно на утруску.
Нас было двое, я теперь одна.
Вино любви передержалось в уксус,
вот-вот — и душу выкислит до дна.

Я так боялась подлости и грязи!
Гудели мысли, как пчелиный рой.
Ведь назовёт, хотя и не любой,
Любовь,
мою любовь, порочной связью.
Как руку, сердце не перевяжу я,
чтоб занемело,
не перевяжу.
И пусть.
Одна беду перебудую.
Но что я старой матери скажу?

Она давным-давно сама всё знала.
Плетёт несчастье сети, как паук.
Она ни в чём меня не упрекала,
но всё валилось у неё из рук.

А раз сказала с горечью и болью:
*«Да есть же парни!
Гришке — не чета!
И на кого ж ты молодость с любовью?..
Ах, не на сокола!..
Ах, не на кречета!..»*

...И мне с тех пор, как будто, полегчало.
Ни радости на сердце, ни печали.
Остановить его и не пыталась,
как после злого недуга, шаталась.
И не было ни ревности, ни злости,
как ночью на заброшенном погосте.

Всё почему-то я жалела Гришу,
Казалось — обошёл его Всевышний,

когда он души раздавал,
ему чего-то недодал.

Ещё я в мыслях обращалась к Гале:
«Спасибо, Галя, за мои печали.
В глазах твоих я вижу удивленье —
спасибо, Галя, за любви спасенье,
моей любви, которая одна,
другой, как оказалось, грош цена.

*А знаешь, может, так оно и надо, —
увидят ли меня, коль встану рядом?
Ты — Вишнякивна.
Твой отец богат.
Таких, как он, не много на Полтаве.
Он со двора — всегда, как на парад.
А мать и на курятнике, как пава.*

*Вишняк в любой компани Вишняк
от оселедца* и по голенища.
Кому-то слава — и не за пятак,
а твоему отцу она — за тыщи.*

*Ему добро любое ко двору.
Обильно сад его и рожь рождает.
Он не из тех, что за грудки берут,
он в полцены, что хочет, получает.*

*В его объятях — гребли и поля,
он в пастве — самый добрый прихожанин.
Кто — за Богдана, кто — за короля,
отец твой с теми, кто не возражает».*

О, как Вишняк умеет говорить!
И речь его, и поймы шелковисты.

* Оселедец — прядь волос, хохол на бритой голове.

Земля горит, вокруг земля горит —
он греет руки — белый и пушистый.

Где промолчит и сдержит гнев внутри,
где — грудь вперёд и — с полуправдой чинной.
Отец мой так не мог, он знал —
борись
или умри достойно, как мужчина.

Вишняк же спрячет в прищур хищный взгляд,
все взвесит и по полочкам разложит.
А, может, так и надо?
Мудрый гад
тем, что меняет, если надо, кожу.

Любой ценою Вишняки живые,
хоть Богу им молиться, хоть козлу.
И — на плечах все головы такие,
а Чураёв Гордеев — на колу.

Добро и Зло — не радуга над речкой.
А белый свет — не только день и ночь.
Вишняк шёл вверх при солнце и со свечкой,
Вишнячка — вширь шла,
между ними — дочь.

Как говорится, маток двух сосала,
в себе соединяя высь и ширь.
Когда она сундук свой наполняла,
Господь нам с Гришею судьбу вершил.

...Они далёко жили, за Раскатом.
От нас — так через Задыхальный Яр*.
Колодец их под крышею двускатной,
добротной,
хата — окнами в базар.

* Раскат, Задыхальный Яр — микротопонимика Полтавы.

А как дожди нальют вокруг хаты лужу,
хоромы — баржа, севшая на мель.

Как «чайки» запорожские, снаружи,
с утями гуси окружают цель.

Хозяйка-то — дородная и пышная —
катается по дому спелой вишнею.
Аж больно глянуть,
кажется, вот-вот
уколетса и соком изойдёт.

А Галя-то трясёт ковры с дерюгами,
а заодно и всю себя трясёт.
И мать, и дочь — округло-то безуглые:
у них обеих общее всё.
Всё...

У Гали — светло-русовая косица
и глазки зелены, как репяшки.
Вот и смогли в Григория вцепиться,
ведь Гриша — парень видный всё-таки.

Глухая к песне. Что-то как сморозит...
Уж лучше бы не раскрывала рот.
Но раскрывает.
Ну, а те, что возле,
ей сочиняют, что она поёт.

На каждый вечер у неё — обновки,
да «Я вот!..» — не по росту велико.
Под каблуками — медные подковки.
А счастье не живёт под каблуком.

Парням же снится Галино приданое,
гора добра —
«Вот бы прибрать к рукам!»

Сваты роятся, Гале нежеланные.
И тыквы катятся с её горы к сватам*.

А может быть, я к ней несправедлива?
Такая вот и казаку нужна, —
к печи и к салу, и к скоту и к ниве,
в постели ласкова,
к побоям терпелива,
как слива, сладкая и мягкая...

Она
в глаза глядит покорно — вся вниманье,
всё на подхвате — мысли и посуда.
И недалёкость ту за пониманье
он принимает:
не жена, а чудо!

А принесёт муж поколоченную душу —
жена прилипнет к ней,
что к ране подорожник.

И знает муж, что он лишь прыщик на макушке,
на гетманской,
но для своей подружки
он Бог и царь, он всё на этом свете может.

Так дай вам, Боже, Гриша, и добра и счастья.
К двери подкову кверху рожками** прибай.
Всё утрясётся, всё минётся,
но участия
ты никакого мне оказывать не смей.

Не поминай меня ты ни добром, ни лихом
и ни нарочно, ни случайно, —
обойдусь.

* При отказе в сватовстве сватам со стороны жениха выносили гарбуз (тыкву).

** Подкову, по народному поверью, прибавают кверху рожками, чтобы чёрт заблудился.

Я — Чураиха, понимаешь? — Чураиха.
И это всё, что я имею,
чем горжусь.

Ни на тебя, ни на неё зла не держала
и не держу.
Случилось так, что я — одна.
На Маковея шла из церкви я,
она
вослед смеялась мне.

Девчат я обогнала,
их поприветствовала.—
Смех! Ударил смех,
как в спину нож.
Я на ногах едва держалась.
Ей кто-то цикнул,
что при мне смеяться грех.

В глазах — лицо её.
Так зубками наружу
смеётся суслик.
Только этот смех,
как плеть,
рубцы кровавые кладёт на душу,
сводя желанья все в одно —
скорее умереть.

Вода сомкнула солнце над моею головою.
Была Маруся — стала Ворсклою-рекою.

...Добрый брат мой, что зовут Иваном,
спас для жизни,
но при мне — беда.

Говорят моря есть, океаны—
слышала.
Но и они — вода.

Мне б заплыть за горизонт лучистый,
крохотною точечкою стать.
Море хоронить умеет чисто —
ни тебе могилы, ни креста.

Нет ворон.
Всё синее, зелёное...
Чайке ж чёрной не быть никогда.
Море и оплачет, ведь солёное,
море и омоет, ведь вода.

Не волнуйся, это не с горячки.
Я не знаю, день прошёл иль два.
В речке раки ходят на карачках.
А над ними стаями — плотва.

А на дне спокойно, как в раю.
Я склонилась — очень пить хотела.
Не топила ни души, ни тела, —
я топила только боль свою.

Дожилась я мукою земною,
утопиться негде, негде, брат!
Не ходи украдкою за мною.
Виновата я людской молвою.
А на дне никто не виноват.

Как печально журавли курлычат...
Ах, Иван, тебе ведь жить да жить.
Ты меня любовью возвеличить
хочешь.
Я ж могу любовь убить.

...Душа не гасит памяти икоту,
хотя ей очень скоро в дальний путь.
Она и здесь нашла себе работу,
а нет бы да присесть и отдохнуть.

Нет! —
Кажут глазу памяти сусеки,
луне и солнцу отдают на суд.
Я перед Гришей расплела косу,
в любовь впадая,
словно в море реки.

Мы ничего тогда не замечали
и беззаботно жгли свои деньки.

А уж в Полтаве сотни собирали,
и гетман сотни связывал в полки.

...Коней копыта отстучали.
Осела пыль.
Затёрся след.
Уже девчата докучали:
*«Тебе, Маруся, сколько лет?!
Гляди, какая жизнь настала.
Беда , беда —
со всех сторон...
Ты будешь девка-перестарок,
когда с войны вернётся он...»*

А я боль в песне растворяю,
пою и потому дышу.
Откуда песня, я не знаю,
Я Нечто сердцем принимаю
и набело в душе пишу:
*«Повей, ветер,
буйный ветер,
откуда прошу я.
Развей, ветер, тоску мою,
что в сердце ношу я!»*

Говорят девчата, словно
лузгают у печки.
Я в речах немногословна,
песня ж душу лечит.

Зимний вечер. Метелица
за окошком кружит.
Больно мягко снег стелется.
Не зря песня тужит.

Горем песня накатилась,
как слеза на очи.
Ах, зачем, скажи на милость,
мне те дни, те ночи?

Само собой мелодию
слово обретает,
кличет Гришу на родину,
но не возвращает.

...Мартын Пушкарь казаков отпустил,
подольше и получше погостить.
Но были чтобы ушки на макушке,
и глаз остёр, и сабля под рукой.
Не замолчали — приумолкли пушки,
и тишина была сторожевой.

В том знаковом году пятидесятом
как петь могла я!
Как могла любить!
Не крылись.
Наше чувство было свято.
А святость кто посмеет осквернить!

Мы будто свет друг другу завязали,
в осокорях стояли до зари.
А матери всё видели, всё знали,
но как-то обе сразу замолчали,
печали пряча глубоко внутри.

Спрошу, бывало:
«Ну чего Вы, мама?
Он Вам как сын.

Теперь он будет зять».
А мамы очи — будто за туманом:
«Чего уж там — ни дать, ни взять...»

Печалилась. Не может мать иначе:
«Дочь, ладно.
У меня всё хорошо».
Но, как-то
(что могло бы это значить?)
сын Остряницы Якова зашёл —
Иван.
И стал у нас бывать.
Молчала я, не зная что сказать,
что говорить такому человеку.
Не хочет кочет,
надо ль кукарекать?
С хохлатки ж
взятки гладки.
А он воды попьёт
и прочь уйдёт.

А как-то, у Галерника, у деда
мы встретились.
Немного посидел
да и ушёл, не поддержав беседы,
как будто сделал то,
что делать не хотел.

Суровый.
Слово скажет, как завяжет.
Холодный взгляд — мурашки по спине.
Лицо, как меч.
Порой казалось мне,
что он замыслил что-то против.

Даже,
что ненавидит он меня за что-то.
И ладно.

Пусть,
я думала,
молчит.
А первую цеплять была б охота,
не зная чем закончится почин.

Подружки говорили, что влюбился
Иван в меня. А я им: «*Он чудной*».
Григорий недоволен был, сердился:
«*Он хитрый*, — говорил, — *он потайной*».

Ивана недолюбливали наши,
заносчив больно и не бьёт челом.
Горд непомерно, с ним не сваришь каши,
и с языком ему не повезло.

Григорий не такой —
приветлив, ласков,
родник под солнцем —
наклонись и пей.
Скажи мне, мой хороший,
это — маска?
Какую ж душу спрятал ты под ней?!

Прозренья боль!
О, как Вы правы, мама!
Слепа была.
Прошу прощения.
Неравенство имущества есть драма,
но душ неравенство —
трагедия.

...Мы с поля шли.
Был май.
Шмели гудели.
Сирень кипела, и акация цвела.
И удивился Гриша: «*Неужели?* —
увидев Галю. — *Глянь, как подросла!*»

И пошутил:
*«Была же с рукавицу,
а нынче воз не всякий для неё.
Бегут деньки, как девочки — в девицы.
А мы воюем.
Каждому — своё».*

А Галя едет, лентою краснеет.

Высокий воз — как остров камыша.
*«Ты глянь, Марусь, какая Пелагея!
Не Пелагея? Галя? Хороша!»*

Нас окатило придорожной пылью.
Кленочек поклонился на излом.
И Гриша мне:
*«Ни бурьяном, ни былью
не растает память о былом.*

*Пилява, Корсунь, Збаржев, Жёлтые Воды... —
не знаешь, примут ли, но отдаёшь
злодейку-жизнь. Походы — годы, годы...
А ты, бедняжка, ждёшь меня, всё ждёшь».*

Да, жду.
Но Чураиха — не бедняжка.
Бедняжка не дожждётся казака.
Героя!
Для бедняжки это тяжело
и не по чести ноша.
Велика.
Когда ты любишь, и по-настоящему,
и жениха, и Родину, как мать, —
не до себя.
Отчизна — не тюрьма,
отличен ждущий
от в тюрьме сидящего.

А дни сошли.
Вновь сурьмы заиграли.
Уже нам не по восемнадцать лет.
Нам пожениться б...
Но сказали: «Нет!»
(И мне, и Грише)
те, что погибали.

...И он во мне меня нашёл,
и покори́л немой печалью,
обнял за плечи и повёл
под осокорево молчанье.

Казалось мне, что мы в одно
два одиночества связали.
И под невинною виной
сломалась я,
но я сказала:

*«Погибнешь — стану я вдовой.
Не знаю, так ли я любима,*

*как мною ты, но мы с тобой
теперь ничем неразделимы».*
В слезах перемешалась соль.
Какое счастье —
счастья боль!

...Привязала я флягу к седлу казака,
провела недалёко его, до ворот.
Провела, будто бы подтолкнула.
А как?
(Ни сестра, ни жена).
От ворот — поворот.

Полетела молва с языка на язык...
Языки языками легки на призыв.

...Песня крылья сломала, как птах в кулаке,
задохнулась, оглохла, ослепла.
Будто плод я несла,
но теперь, налегке,
ни жива, ни мертва.
В пору голову...
пеплом...*

Часто звали в подружки, но тихо теперь.
Не зовут. Все почти разошлись по мужьям.
Я любима, люблю, но, как раненый зверь,
почему от людей прячусь я, прячусь я?!

Почему не пою? Как монашка, черна.
И до храма уже дохожу я едва.
Словно плеть по спине, взгляды — на тебе!
На!..
А за пазухой — камни — слова...

Люди судят,
а суд вовсе не надо мной.
Но зачем у столба деве голой стоять?
Вам знакома она.
Но на кой... но на кой...
Человеку в лицо Человека плевать?!

Боже, это же я! Это судят меня!
Дёготь льют, и плюют, и размазывают.
Хворост слов подо мною раскладывают.
Подожгут, чтобы руки погреть у огня.

Чужое горе им, что мёд осе.
Суют, не в силах вынуть, хоботки.

Но всё-таки
свидетели не все
поганые имеют языки.

* В старину, от горя великого, люди посыпали голову пеплом.

...Уснуть бы...
Но не засыпается.
Душа печалью осыпается...

Гляжу во тьму,
но — хата предо мною,
и ласточкино над окном гнездо.
Вот-вот —
и счастье захлестнёт волною
меня под близкой утренней звездой.

Рогоз и берег, солнцем обогретый.
Верба с гнездом-корзиной на дворе.
И старый аист —
«словно с минарета»,
сказал Григорий как-то, видя это —
стучит молитвы утренней заре.
Потом, в гнезде буслиху* он оставит
под крыльями своими.
Чудеса:
отец и мать — не сами в небесах!
На крылья встала молодая стая.

...Ещё я тосковала по дождям,
по клёнам, по хрущам, по вечерам
и по траве, защитнице земли...
Казалось мне, что душу обрели
цветок, листок, травинка и пчела —
сама бы в колокольчике жила...

...А утро, как мерлушку** по рукам
и по щекам,
тянуло свежесть.
Темень отступала.
Тюрьмы одежда —

* Буслиха — самка аиста.

** Мерлушка — мягкошерстая шкурка ягнёнка.

тьма —
от потолка,
так нехотя, к моим ногам сползала
и пряталась (живая!) по углам.

Там Хо^{*} сидит, притихшей тьмы комочек.
Его, наверно, мамка привела,
съестного вряд ли что-нибудь дала,
но завернула сказок узелочек.

Бесёнок?
Домовёнок?
Хо, явись.
Единственная здесь душа живая.
Ты и *туда* пойдёшь со мною?
Не сердись.
Со мной не надо.
Там живое умирает.

Предстань передо мною, Хо, предстань.
Не выпьешь ли со мной воды глоточек?
Не нравится. Такой воды не хочешь.
Ну, будь здоров. Не дуйся. Перестань.

В неволе задохнулась и вода.
Спасибо. Здесь ты. Хоть и не подельник.
Сегодня что? Четверг? Или среда?
Смеёшься! Да. Всегда здесь понедельник.

Куда-то бледный тянется росток.
Неужто всё равно куда тянуться?
И мне принёс тюремщик узелок.
Мне стража жаль — не вправе улыбнуться.

Взяла и не спросила, от кого.
Для этой боли слов уже не стало.

* Хо — воображаемое героем романа существо, похожее на домовёнка.

Ах, мама-мама, горя моего,
в сравнении с твоим, ничтожно мало.

Хотя и надзиратель пожалел.
Как я его. Вот оказал участие.
Быть щедрым, если горе на столе,
так просто — пожелай несчастьем счастья.

Два пирожка, три яблока, творог.
Я знаю — ты меня и не винила.
Прости, родная, что отец не смог
вернуться с обезглавленных дорог
и я у Гриши счастья не просила.

Густой спорыш затягивает след.
Калитку гость уже не открывает.
Но знаю — аист молится на свет,
который наши души наполняет.

И всё цветёт, земле поклоны бьёт,
и пчёл зовёт нескошенным нектаром.
Верба растёт, птенец в гнезде растёт,
а что растёт,
то не бывает старым.

А я, мам, выросла, я выросла уже —
и что всего печальней —
из надежды.
Хочу я, мама, оставаться прежней,
сама собой с грядущим на меже.

Я знаю, что мы встретимся с тобой.
Мне этой ночью наш отец приснился.
Он мне сказал: *«Пойдём-ка, дочь, домой,
нас мама ждёт, и аист воротился».*

Вложил мне в руку этот вещий сон.
Не снятся нам напрасно сны такие —

над Украиной — солнца колесо,
а солнца колесо —
не от Батыя*.

На монастырь в последний раз взглянуть...
В последний раз колокола услышать...
И можно в путь...
И можно в дальний путь...
на встречу с Гришей...

Где монастырь стоит,
шумел дремучий лес.
Деревья были до небес.
Здесь можно было встретить стадо коз.
Туры ходили,
неуёмные в гневе и в силе.
Весной ревели те, что победили.
В природе всё всерьёз.

И там, где волки выли на луну,
Шлях паутинки троп ссучил в одну.

Привыкли мы общаться с тишиною,
а тут — на дровосеке дровосек.
И Кривохаткам не было покоя.
А новостройка нечто есть такое,
где нет никчёмных, каждый — Человек.

Кирпич возили, дерево из пущи...
И были наши помыслы чисты.
И на горе над Ворсклой,
в Днепр текущей,
в три колокольни вырос монастырь.

Казались наши Кривохатки
щенятами под боком матки.

* Батый казнил тех детей, что были выше тележного колеса.

Но люди говорят:
«Без нас бы не было монастыря».

А что у нас прекрасно, то — садочки.
Чтоб жили хуже всех, так это нет.
Достаток? Да. Имела две сорочки.
Одну стираю, а одна на мне.

Бобренки — те не дюже бедовали.
Они в аренду землю отдавали.
Но было впечатленье, что не жили,
а в две души копеечку душили.

Как их двоих судьба в одно свела?
Ни лад, ни склад в семье — одни скандалы.
Она — не то, чтоб главной была —
характер скверный.
Мужа, как пила,
пилила:
то не так ей всё, то мало.

Всегда болело что-то — грудь, живот...
То голова...
Высока, голенаста,
как цапля с Перещепинских болот.
И недовольства —
как в болоте ряски.

Как будто прямо не могла ходить,
держала плечи в полуобороте.
А ненасытная! Что углядит,
то тут же, клювом выхватив, проглотит.

Недалеко от нас Бобренки жили.
С порога до порога — пять минут.
Бобренко и отец давно дружили,
почти что в одночасье поженились,
за солью — вместе, вместе — на войну.

Но у Бобренка износился гребень.
Пришёл к отцу он как-то и сказал:
*«Ты вот нашёл того, кого искал,
я ж провалился под дурного греблю».*

И кровь его казачья закипала
и заливала разума пути.
Жена ж его как в землю закопала —
подёргался, подёргался — и стих.

И стал домашним боевой хорунжий.
Не поднимал очей на Чурая.
Хомут бы с шеи снять — да ведь семья,
пойти в поход — да в огороде нужен.
С годами память стала никудышной.
До солнца встанет, после — как помрёт.
Уж не Бобренко — дом и огород,
уж не казак — усталость и одышка...

А как-то ехал через Ворсклу возом,
то ль задремал, то ль думал не о том,
и в иордань, прикрытую морозом,
он провалился с возом и конём.

Бобренчиха вдовою стала,
ушла в хозяйство с головой.
И всё ей мало, мало, мало...
И вся, и всех по чём попало
кляла и злилась.
Боже мой,
хулить, как говорят, негоже,
вдову — тем более.
Давно
известно — что кому дано,
про то он и поёт, как может.

Кто про коня, кто про калину,
кто про свекровь, кто про дивчину,

она же про одно поёт,
поёт и петь не устаёт:

*«Ну, что глядишь на хату, Гриш, —
не мышеловка,
ты — не мышь!»*

*Пришёл из дальнего похода.
Пришёл — ни славы, ни добра!
Жениться, Гриш, тебе пора,
а ты — всё через пень-колоду.
Течёт сарай, подмокло сено,
сломался воз, загажен двор.
А ты, как пьяный дьяк рассеян
(не видит прихожан в упор).
Всё мать да мать...
А мать не вечна.
Сынок, на землю опустишь.
Летая не истопишь печку.
Не хочешь сам?
Тогда женись.*

*Мечта — не шуба, не наденешь.
Все просит рук и денег, денег!..»*

А Гриша:

*«Бога не гневите, мама!
Мы хрен без соли не грызём.
Есть огород, худоба, дом
и став, и сад, а вам всё мало!»*

*«Сынок, невестку бы с добром,
а не Маруську с гонором!
У них и хата поросла крапивой,
а вместо тына прёт чертополох.
Такой невестки мне, хоть и красива,
не надо, не пущу и на порог!
С лица, как говорят, не пить водицы,
и не шестнадцать ей, и не девица...»*

*«Да как вы можете?!
Вы ж знаете, что я...
Люблю её! И всяко может статься.
А деньги вон под лавкою стоят».*

*«Не обломись, как будешь нагибаться.
А ты хоть талер* положить подумал?
То мы с отцом...
У сына ж рот — с дырой.
Иди, бери, веди свою колдунью.
Деньжищ у матери — невпроворот!*

*И вот она, от сына благодарность.
Тяну, что кляча, воз по пахоте.
И всё одна.
Да был бы жив отец,
сказал бы он тебе словечек пару.*

*Выходит, ожидала зря
я своего богатыря.*

*Недопила и недоела,
на огороде — кочергой...
А богатырь пришёл домой,
отдав Маруське душу с телом!*

*Женись. Пускай — не по-людски.
Но не рассчитывай на помощь.
Ещё родную мать ты вспомнишь,
когда съедите корешки.*

*И свой приплод не шли ко мне,
ни крошки
не дам
ни за столом, ни на дорожку.
Добро всё отпишу монастырю.*

* В 16–18 гг. талеры были в ходу на Украине.

*Я не шучу.
Я правду говорю!»*

*Уже и Гриша вторил, словно эхо:
«Любовь — не лошадь,
в плуг не запряжешь».*

*А я: «Одно другому — не помеха,
когда любовь и жизнь — одно и то ж».*

*И спрашиваю: «Что оно за диво? —
Под Берестечком, под Пилявою, под Зборовом
ты дрался здорово,
а в доме прячешься трусливо».*

*А он и сам себя не узнаёт:
«Не всяка сабля-то меня собьёт.
Не прятал сердце за сердца других.
А здесь я, словно мышь в норе, затих.*

*Когда я воевать ушёл,
я твёрдо знал: всё будет хорошо.
Любовь мою течение не снесёт,
а буду погибать — любовь спасёт.*

*Я был уверен — никому не поклонюсь,
когда живым на Родину вернусь.*

*Под груз такой плечо подставил я,
такою в битвах освятился кровью...
А пред твоею будущей свекровью
не устоял.*

На Икве я попал к полякам в плен.
Когда мы шли, привязанные к сёдлам,*

* Имеется в виду Иква — река, впадающая в реку Стырь (бассейн Днепра) — в итличие от Иквы, которая впадает в Южный Буг.

*вороны по дорогам и по сёлам
глаза клевали нам*

*Ад без перемен
на всём пути.
И даже в кулаки
сжать руки силы не было при обыске.
В карманах лишь ржаные колоски,
а в памяти — как сабель — боя проблески.*

*Каким-то чудом руки развязал
и убежал, остался б — то навек.
Ярема наших пулями считал
и насчитал три тыщи человек.
Под Дубно.*

*Шёл ярами и болотом.
Ел ягоды, грыз горькую кору.
Не раз казалось — лягу и помру.
И, остывая где-нибудь в яру,
душе раскрою небо для полёта.*

*И всё. Я исчерпал себя до дна
и землю исчерпал всю, и страданья.
Но оставались в отблесках сознанья
и мать,
и ты, хотя б для покаянья,
жена,
невенчанная, но — жена.*

*От голода и слабости я падал
и полз, и шёл, завидуя зверью.
Но вдруг остановила смерть мою
избушка, выросшая среди ада.*

*Благодаря хозяйке, оклемался.
Просила, чтоб остался, — не остался.
Я по тоске шёл, как по чёрной пашне.*

*По щиколотки ноги на ходу
в ней вязли.
И ни павшим, ни пропавшим
не стал,
дошёл — я верил, что дойду.*

*И снова я — как лодка у причала.
Под лодкой — Ворскла материнских слёз.
Я — лодочник, я снова мать повёз,
за вёсла сев. И снова всё сначала.*

*Как вол работал, отдыха не зная.
Всё запустило. Не моя вина.
А недостаткам — ни конца, ни края.
И злыдни затяжные, как война!*

*Воюем, боремся...Доколе?
Четыре года жизни потерял.
Четыре года и крови, и боли!
Неужто зря?*

*Не уставали матери уста...
Неугомонная, пилила и пилила...
И потихоньку я прислушиваться стал:
«Веди жену, чтоб огород и дом любила,
чтоб не перечила свекрови да с добром
вошла в наш дом и преумножила достаток,
не как Маруся, эта дева-перестарок,
что долю перешла тебе с пустым ведром.*

*И что ни песня у неё — печаль-кручина,
а сердце гордое и песне той под стать.
Она — болезнь твоя и наших бед причина.
Сын, выздоравливай и пожалей родную мать!*

*Она ж, как Ворскла в половодье,
поёт.
А что даёт?*

*Да с чучела на нашем огороде
добра поболе, нежели с неё!*

*Подружки-девицы, усевшись на крылечке,
не станут петь про Днепр, про степи за Днепром...
Не дело их ума — Пилява с Берестечком,
а очи чёрные, луны полусердечко
и косы вербные над голубым прудом».*

*Я огрызался, я, как мог, сопротивлялся.
А у неё язык, что жало у змеи.
И становились помыслы мои
беспомощны...
И я сдался.*

*Как хлебный мякиш, я размок и обезволил.
И мать подобие своё из мякиша
лепила
и, причём, успешно —
от недоли
мне захотелось барыша.*

*Кому ещё пришлось так тяжело на войне,
как мне! —
И жизнь моя прибавилась в цене.*

*Но всё настырней мать моя день ото дня,
слова её, как мошкара вокруг огня,
летает, липнет, отвлекает, лезет в рот:
«Вот с Вишняками б породниться — это род!*

*Чихнула. Значит правда. В правде — сила.
Я из ума ещё не выжила, сынок.*

*Твоё сердечко, как дорога, раздвоилось,
а надо выбирать одну из двух дорог.*

Отец твой тоже не святой... Была Ликера...
Но он,
подумав,
от неё ко мне сбежал.
О чём печалиться? Дивчина не галера.
Тебя цепями к ней Господь не приковал.

Да мало ль кто и с кем ходил под ручку.
Язык о зубы не набьёт прыща,
и потому — забудь, что обещал.
Маруся не скончается в падучей.

Женись на Гале. Галя — золотая.
На сто невест она одна такая.

Не молода я, Гриша, и хвораю.
А как же ты перебедеуешь белый свет?
Войне проклятой — ни конца ни края.
Тебе же, сын, уже не двадцать лет.

А жизнь одна, другой не будет жизни.
И можно ли надеяться на рай?
В аду ты был. А кем за это признан?
Здесь ад и рай.
Что хочешь?
Выбирай!

Война. На казаков девчата падки.
А ты — не сглазить — парень хоть куда,
любую можешь, как морковку с грядки,
хоть, вырвав, бросить,
хоть забрать сюда.

Тебя я не насилую, но, всё же,
подумай —
счастье к нам плывёт само.
Ты ж — на глаза бельмо —
сам от себя поставил огорожу».

*«Да злилась бы, бранилась бы, кричала,
такой бы учинил я тарарам,
так нет же, собираясь умирать,
на смерть рубашку шила и молчала.*

*Вышел из дома. Всё — как в дурмане,
в старосты взял двух дядёв.
Словно забыл, что тобою был ранен —
в лекари кликал её.*

*Адские муки...
Как с браги — походка...
Всё безразлично вокруг.
Совесть — что шкварина на сковородке —
с мухами брызг на ветру.*

*Мне сватовство до смерти будет сниться
и будет жечь.
Сваты лепечут что-то про куницу,
а та дурища ковыряет печь!**

*Как в преисподнюю не провалился,
Как не разбил о стену кулаки?!
Потом в корчме действительно напился
и матери всё высказал-таки.
Впервые в жизни.*

*А она мне тихо
сказала, глядя голову мою:
«Тебя в такие руки отдаю,
в которых ты забудешь Чураиху...»*

*...Уже на свадьбу кендюх** начинали,
ловили кур, готовили дежу.*

* Обряд сватовства, при котором свагты иносказательно говорят о цели своего прихода, а девушка, которую сватают, потупив глаза, занимается чем-то отвлечённым.

** Кендюх — вычещенный свиной желудок набивали кусочками ливера, мяса, сала, специями; туго завязывали, долго варили (Свадебное угощение — на славу!)

Уже вдвоём в кладовой ночевали,
а я лежу и в темноту гляжу.

Забрезжило.
В кладовой духотища.
Фонарь ночной весь в масле и в мошке.
Добра в углах!..
на полках!.. — теснотища.
Мы — на коврах, а кажется — в мешке.

Девчат до свадьбы не велит обычай
цеплять,
да я бы и не смог.
Бежать, бежать, бежать бы со всех ног...

Но — отупение...
Но — безразличие...
Она ж, толкуще-варяще-жующая,
печёт и жарит, чистит и толчёт.
Во двор — с метлою, в погреб — со свечой...
Убогость, —
но имущество имущее.

И вдруг запела!
С «мишкою» за ухом*
всегда уверены, что — кобзари.
На самом деле — глухари,
что выдают за песню грохот в брюхе.
И ладно, Бог с ней. Но слова, слова-то...
Твои слова!
При мне!..
Ей ничего не свято».

...И третья ночь плывёт над яворами.
Собрались вербы Ворсклу перейти.

* О тех, кто не имеет музыкального слуха, говорят, что им медведь на ухо наступил.

Не будет им помехою в пути
ни ров, ни вал, ни городская брама*.

С Куриловских и Киевских ворот:
«*Не спи! Не спи! Не спи!..*» —
не спит сторожа.

Полтава — словно старая ворожка —
горы оклунок**, речки поворот...

Мне ночью как-то всё родней и ближе.
Бессонницей налита голова.
Всех обойду я, всех родных увижу.
На холмик Гриши наплыла трава.

Зайду во двор наш, постою у хаты.
А спит ли мама? Или за столом
сидит и, болью за меня распята,
глядит, не видя ничего кругом?

Пойду на гать, там постою немножко,
напьюсь нектара тихих вечеров.
И под ветвями наших яворов
присяду на дорожку.

Потом, как тень изгнанного Давида,
метнусь за Ворсклу,
где казак Фесько,
взойдя на гать из глубины веков,
дозор ведёт у Старых Ветряков —
всё видит.
Луна — одна и не находит пары.
А мы соединимся в зеленях.
Тишь... Ночь...
Собаки стерегут амбары,
ещё тюремщик — стережёт меня.

* Брама — ворота.

** Гора напоминает полупустой мешок с сыпучим грузом.

Да крот, каким-то чудом не ослепший,
глядит, как будто знает, чем дышу.
Ещё дышу...
Нет-нет, я не повешусь
и палача работы не лишу.

А вот и он — с проверкою:
на месте ль?
И не вишу ль на собственной косе?
Да нет.
Пока на мне нательный крестик...
И крест в душе...
Да шёл бы спать, как все.

Сопит, не верит, топчется, отходит...
Усы похожи на кольцо в носу
у бугая.
Его как будто водят
за то кольцо вокруг пенька в лесу.

И снова ночь.
А где мой милый Хо?

Видать, уснул, свернувшись в уголочке.
Ещё не время становиться ночью.
Иди ко мне. Мы посидим.

Не хо...чет.
Столько общего у нас:
и эта ночь, окна иконостас,
и образа...
какие образа!..
какое милосердие в глазах!..

Бежишь! Бежишь! Карабкаешься вверх —
по стенам, потолку и дальше, дальше...
Ты нынче друг мой, ты мой кавалер.

Молчишь.
Зато в словах не будет фальши.

Постой!.. Куда?.. Не надо!.. Боже мой!..
Одна я.
Хо висит вниз головой...

...На небе ветры разгоняют тучи...
В норе ж моей, как в пекле, духота!
А где-то там — изба под чёрной кручей,
в избе — труна* и полутемнота...

И лето позднее...
В снопах лежит пшеница...
На жёлтой ниве трудится семья...
А все ли в той труне убийцы
задыхаются,
как я?

О Господи, его похоронили,
кукушки отпророчили года.
Всё спуталось...
та пятница... тогда...
да, пятница...
когда меня судили...
его везли...
меня вели...
вокруг ни неба, ни земли...
глоток воды из добрых рук...
и были...
не было ли мук...
и с Гришей гроб волы везли...
его везли...
меня вели...

* Труна — гроб.

Видать, я впрямь схожу с ума.
Лежит он там с открытыми глазами.
И видит всё.

Всё видит.
А тюрьма
стоять недолго будет между нами.
Не будет рук —
обнимемся крылами.

* * *

...Последний день.
Пришёл священник.

*«Отче!
Неизмеримую снимите боль
с души!»*

А он: *«Покайся, — мне бормочет, —
гордыня — грех»...* —
а очи... —
мимо очи...
Да, грех... —
одной соседке соль
не отдала
и матери однажды солгала.
Покаялась.
Он мои грехи,
слова в муку размалывая глухо,
насыпал под свою епитрахиль*.
Потом откашлялся и почесал за ухом.
А что скажу?!
Как уголёк под пеплом
пережитого,

* Епитрахиль — одно из облачений священника, надеваемое на шею под ризю. С крестами передник — ниже колен.

донесу ль на Страсть
измученную душу?
Божья власть,
а не попа.
Он разве передаст
всю правду Богу, —
разве только часть,
которая,
как иерей, нелепа.

Заскрежетали кованых дверей
засовы.
Смолк и вышел иерей.

...Лягушки где-то квакают с болота.
Легла на луг заката позолота.
Сверкнул прощальный лучик на стене.
Единственное существо на свете,
приметив,
улыбнулось мне
солнце
доброе, живое.
Спасибо, солнце, что сейчас нас двое!

Я завтра, солнце, буду умирать.
Решили на земле, что мне пора.
Я перешла не огородную межу
и потому, прости меня, скажу.

Не месть была то и не помешательство,
убить — непросто,
просто — не убить,
что и любить...
представь...
что и любить.

В одном даётся бесу обязательство,
в другом — Творцу...
хотя, всё может быть.

Он выпил сам...
Но зелье я варила.
Кому, не знаю, службу сослужила.
Кому, не знаю, службу я несла...
Убила Гришу я или спасла...

Отраву ту я собрала с отчаянья.
Я с детства знаю зелье где какое.
Ведуньей бабка-то была и чаяла,
что я проникнусь верою в людское
и веденье,
и виденье.

И что же —
наказана.
Иначе быть не может
и не могло.

У бабки — чёрный кот.
У бабки — доля с чёрными очами.
Всё правильно,
всё —
до наоборот:
печаль — от смеха,
радость — от печали.

Я наварила мяты, драголюба.
Не пособило.
Наварила вновь.
Вот-вот и узаконит нелюбовь
мой милый с тою, что ему не любя.

А знаешь, солнце, душу-то как жжёт,
когда в себе самой тебе нет места?!
В один момент, старухой став, невеста,
женой не став, идёт на эшафот.

Хожу, как тень, от печки до порога,
сама себя обидой извела:
неверного и лживого, —
чужого! —
убила Гишу, но не отдала.

*«Всё тяжелее думонька от сердца до чела:
не видела миленького ни нынче, ни вчера», —
спую себе и кажется, что вовсе не печалюсь, —
«А как выйду за ворота, от ветра шатаюсь».*
Любились, миловались мы, как голубь с голубкой! —
«Не дай Боже разбежаться, как любый с не любой»...
*«В воскресенье ранёхонько я зелье копала...
В понедельник это зелье переполоскала...»*
Смерть моя, спаси меня
от боли!
Я устала.

Уже Бобренки с праздником не крылись.
Не уставали сплетен языки.
Уже почти в открытую глумились,
со мной столкнувшись, Гришины дружки.
Клевреты* -то его —
дворняги волку:
Семён Капканчик и Ромашко Струк.
Один хоть порох нюхал на юру,
другой же —
новобранец в самоволке.
Ну... разве что запуганною мыслью
участвовал в походах.
Но везде,
где надо и не надо —
в первых числах
Ромашко Струк,
как ныне —
на суде.

* Клеврет — приспешник.

Идут, бывало, и — *Гы-гы!* — Ромашко,
Капканчик сдвинет набекрень фуражку.
Мол, казаки особенной закваски,
у нас, мол,
девок,
как в болоте ряски.
Каков жених, такие и бояре.
Избавь нас, Боже, от таких бояр.
Такие, как на свадьбу,
на пожар
бегут и, как на свадьбе, —
на пожаре.

...Уже и воду из другой криницы
брала я,
но куда себя девать?
Почти на нет приветливые лица
сошли, а было их не сосчитать.

На вечеринках шутят девушки с парнями,
а я одна сижу, жалея, что пришла.
Ночами снится:
небо звёздочки роняет,
как слёзы ива, что над Ворсклою росла.

Всё изболело.
Я уже не пела.
Тугой как будто наложили жгут
на горло песне —
песня занемела.
С петлёй на горле не поют.

Явился с нею он — мне слова не сказал.
Глазами встретились — он опустил глаза.

Как пошёл плясать с Галиной,
мне казалось, что месил
в сапогах замес из глины,
напрочь выбившись из сил.

Кто-то крикнул: «*Гриш, турчанку
в землю ты решил втоптать?..*»
Так душою наизнанку
можно только танцевать!

...Этой ночью
я смотрела на него.
— Что ты хочешь? —
Я спросила.
— *Ничего.*
— Уходи же,
уйди же навсегда!
Ненавижу!
Ненавижу!
— *Не беда.*
Ты наивна,
Чураивна.
Вот мой сказ.
Вишнякивна
Галя лучше
во сто раз!
— Что ж ты, Гриша,
ночью вышел
без неё?
— *Чтобы слышать,*
чем ты дышишь,
что поёшь.
— Я отпела,
что хотела...
— *Не глупи.*
Ты ж терпела,
вот и нынче
потерпи.
Я богатый.
Чаша — хата
полная.
— Будет плата
за ту хату

горькая!
— *Наворожишь,*
напророчишь,
напоёшь?!
— Что ты можешь,
что ты хочешь, —
не найдёшь.

От испуга
он растаял.
Никого.
Но любить не перестала
я его.

...Какой-то сон, какой-то бред...
То Гриша есть, то Гриши нет...

Прошло два дня, а у меня —
из сердца стон... из рук стряпня...

И снова ночь. Он — на порог:
«*Прости, Маруся! Я не смог...*»

«*Да нет же, смог. Уйди!*» — Молю.
«*Прости, Маруся! Я люблю...*»

Над свечкой задрожал огонь.
Не призрак это, это — он:

«*Держи меня, Маруся, Держи...*
С тобой останусь на всю жизнь».

«*Себя я выплакала —*
пыль.
колючки... ветер... да ковыль...»

Я тебя ни в чём не упрекаю.
Нет желанья, да и сила вся.

Ты ж душою, как хвостом, виляешь:
вправо — Галя,
влево — Маруся...*

То ли от меня ты отступился,
то ли ты себя переступил.
Иль, возможно, вовсе не родился
и до встречи с Галею не жил?»

«Ты права, Маруся, что простить не можешь.
Виноват я, знаю, виноват.
У тебя есть мама.
На иконе — Божья.
Пусть они нас и благословят».

А мама:
«Руки, дочь, не поднимаются.
Уходит пусть, откуда он пришёл». —
И — прочь из дома.
Нас двоих чурается:
«Не по-людски он, дочь... Нехорошо».

...«Я предал, да.
Но боль — не злодеянье.
Скажу всю правду — мы теперь одни.
Мне не известно, чьи сильнее страданья,
но знаю, что сближают нас они.

Мне кажется —
я сам себе стервятник.
И хорошо бы — мёртвое клевал,
так нет — живое!
Я же — соучастник,
что добровольно уступил в правах.

* Читается нараспев частушечно-шутливо с подчёркиванием ударения на последнем слове в «Маруся».

*И что уже совсем невыносимо
осознавать, что предал я любовь.
А ты в беде своей ещё красивой
любой счастливой девушки.
Любой!*

*И даже пожалеть меня ты можешь.
Я не живу, ты — правильно живёшь.
Ты натерпелась от меня, но всё же,
любую муку в песню перельёшь.*

*Свою судьбу ни подобрать, ни бросить,
ни запугать её, ни рассмешить.
Жить на два дома — да... хоть и непросто,
но невозможно жить на две души.*

*Отступник я, никчемный, никудашный.
Вновь то, что было, не перебежишь.
Но ты ведь любишь, потому, что дышишь,
но ты ведь дышишь, потому простишь».*

*Так обнаженно-чисто и правдиво
он говорил, что совершилось диво —
казалось, что не подлость совершил,
а, может, даже подвиг... в меру сил.
А я стояла, как слепая,
солёных слёз не вытирая.*

*Как журавлиный клёкот увядающий,
душа была.
Казалась умирающей
себе сама я.
Пригоршню земли
принёс бы кто-нибудь с его причала.
Я приложила б к сердцу —
полегчало б.
Он слышит ли, о чём клекочат журавли?..*

Он взял меня за плечи и вздохнул, и вслух подумал,
что, вроде, молод он, а доля — на закат,
что человеком был под Дубно,
и воротился... Жив!.. Но сам себе не рад.

Что, может, я и вправду ведьма —
приворожила — и пропал...
Что грешник он — пошёл к обедне,
но и к вечерне опоздал...
Что никуда ему не деться —
как раб прикован он ко мне...
присел у огонька погреться,
но догорает на огне.
Что мир стал тесен и пресен
ему без моих песен.

Тогда я двери настежь в ночь открыла.
*«Иди, — сказала, —
будь счастливым, милый».*
А он: *«Прости.
Мне некуда идти».*

*«Иди к Галине. Будешь меж панами.
А за тебя я замуж не пойду.
Стоять Галина будет между нами
и всё затмит.
А где же я найду
то, из чего бы песня родилась?
Нет, ко двору тебе я не пришла».*

...Лежала тень от печки до стола.
Лампадка под божницей колыхалась.
Я ничего поделать не могла
с собой, — неумолимою была.
А он сидел...
Что от него осталось!..

*«Коль не хочешь, моё сердце,
женою мне быть,
то попотчуй таким зельем,
чтоб тебя забыть».*

*Я не оброню ни капли
твоего настоя.
Только так я буду счастлив,
как очи закрою».*

Коснулся чашки белыми устами.
Пил медленно. И выпил. И погас.
О солнце, солнце...
И его не стало.
Сказать мне больше нечего про нас.

Потом не помню, сколько дней водили
на суд.
И судьи справедливы были.
И выбрали одну из лёгких казнь.

А мог бы и короче быть рассказ,
когда б они — без показной возни,
без полуправды той позавчерашней...
Мне жизнь страшней,
чем смерть, была в те дни.
Мне и теперь смерть кажется нестрашной.

Скорей бы эта казнь случилась.
Спасибо за оказанную милость,
что выслушало, солнце!
И прощай!

Вам тяжело со мною было, люди,
как с вами мне. Возможно, без Чурай
Маруси
будет легче...
только вряд ли будет.

* * *

Одежду внёс тюремщик в узелке,
чтоб завтра в чистое переделась.

Монисто...

Да...

Хоть подержу в руке.

Монисто есть...

Куда же радость делась?..

Оно от бабки перешло ко мне.

Татарское...

А, может быть, турецкое...

Такое красное! —

калиною в огне

заката кажется

над степью половецкою.

И не простое:

инеем берётся,

снимая с человека жар.

Как странно, что монисто больше жаль,

чем жизнь,

хотя её почти не остаётся.

Могла одеть бы и сермяжку.

Всё под петлём к лицу.

Но мать

вложила белую рубашку,

чтоб дочь красивой умирать

пошла.

И красные сапожки,

панёва (вышивала я),

колечко с камешком, серёжки.

Ах, мама! Мамочка моя!

Неправда то, что смерть не красит.

Его я жду, мой смертный час.

Неправда.

Смерть —

великий праздник —

бывает в жизни только раз.

Раздел IV

ГОНЕЦ К ГЕТМАНУ

Вот, степь под копыта коня подминая,
рассвет обгоняя,
холст ночи края,
и дню добавляя,
мчит всадник по краю
родному,
где горя забыты края.

Надежда,
как хлеба последние крошки,
даёт силы,
чтоб эти сутки прожить.

Трубеж,
Переяслав...
дороги...
дорожки...
Вот если б, как ветер —
по брошенной ржи...

*«Лихая година.
Дай, Боже, удачи.
Клокочет в Днепре и кипит за Днепром.
Лети, мой товарищ, лети, конь горячий.
Какой же он медленный этот паром!
В полях Поднепровья, ветрами обдутых,
всегда тебе пулю готовят меж плеч.
Пусть конь отдыхает в казацких редутах.*

*Дугого возьму.
Песню надо сберечь.*

*Коня — в поводу...
Я в лесах междорожных
иду, укрываясь, хитрю, как лиса.
Всю жизнь ненавидел я всех осторожных.
Сегодня,
теперь,
осторожным стал сам.
Впервые за век мой, впервые за лето,
впервые в старинном казацком роду
я смерти боюсь.
Я боюсь!
Но об этом —
потом...
А теперь — дайте смерть обойду.*

*Прости меня, край мой!
Прости меня, слава,
что я не тобой подгоняю коня.
Живым должен я воротиться в Полтаву,
а там смерть пускай догоняет меня.
Сейчас бы, как птица, лететь в поднебесье.
Дороги закрыты,
и стража не спит.
Коль я упаду —
не спасённая песня
моей Украины
в петле захрипит.*

*Над Белою Церковью жаркий багрянец.
Все тут, кто при храбрости, чести, уме.
Идут все к Богдану, идут от Богдана —
из тьмы вырастают и тают во тьме.*

*На месте ли гетман?
Не ради забавы*

*полки собирает —
на праведный бой.
Здесь, может, решается доля державы!
А я —
о сиротской о жизни одной!..»*

*...Гетман поднял опалённые бессонницей очи.
Сидел он в шатре за походным столом.
Трое старшин — рубцы и кровавые клочья.
Бой на Днестре был. Они говорили о нём.*

*Писарь Выговский. Пред ним донесенья поточные.
Немало поставлено было на чашу весов.
Гетман посланье подписывал ляху Потоцкому.
Рядом стоял от Карач-Мурзы крымский посол.*

*Табор не спал, начеку был, готовый подняться.
Искра вошёл:*

*— Полк Полтавский в дороге, — сказал.
— Искра! Иван! Это что же такое должно было статься,
чтобы такого гонца полк Полтавский послал?*

*— Завтра карает Полтава невунью поэта,
дочку Гордея — Марию, Марусю Чурай.*

*— Славный казак был.
Но ты отдохни до рассвета.
Сделано только полдела-то.
Ладно.
Ступай.*

Посланцы встали, гомоня:

*— Ей-право,
не ближний свет — до Белой из Полтавы.
— Бывает ближе из другой державы,
чем с берега речки левого на правый.*

...В своём шатре Богдан один остался,
с тяжёлой думой накануне боя.
Хмельницкий не был бы самим собою,
когда бы взял да просто так и сдался.

О чём он думал, Богом Данный гетман?
Накинув ферязь чёрную на плечи,
он не погасит до рассвета свечи.
Одна из дум —
«Пути без песни нет нам».

Наверное, он вспомнил Чурая,
чья голова на пьедестале воли,
лишившись тела,
прибавляла боли
надеждой выживающим краям:

*«Откуда песне взяться бы иначе
у девочки с соловушкой в груди,
который среди плачущих один
поёт.*

А тот, кто волен петь, не плачет.

И, говорят, пощады не просила.

Воистину она —

Гордея дочь.

Тому, кто просит помощи,

помочь

не мудрено —

ты помоги Мессии».

...Тем временем ржал конь возле шатра.
Вошёл Иван и взял из-под пера
приказ,
печатью гетмана скреплённый.

...В Полтаву мчится всадник запылённый...

Раздел V

КАЗНЬ

— Светает,
Господи, светает...
Росой омыт зародыш дня.
Как будто Дева Пресвятая
уже оплакала меня.

По камню синие цветочки,
за жизнь цепляясь, поплелись.
Росу спивая по глоточку,
они не покоряют высь,
а принимают всё на свете,
как дети мир воспринимают.
Жаль, что не все на свете дети
до Человека дорастают.

Во двор тюремный стража вышла.
Пришёлся каждый ко двору.
И не подумает, что лишний,
никто из них,
а я умру.

Печаль осыплется, как маки.
Меня положат в целину
за кладбищем*.
И на луну
Завоют местные собаки.

* Самоубийц, а также казнённых преступников хоронили за кладбищской оградой и без отпевания.

Хоть грешную, но всё же — душу
в безвестность люди проведут,
как в ночь упавшую звезду,
меня.
Нет,
Боже,
я не трушу.

Отмучилась, отгостевала
я на несправедной земле,
отпела и отгоревала!
Ещё бы отхрипеть в петле.

А память не запеленаешь,
как пеленают листья груздь.
А что ты знаешь, что ты знаешь
про одиночество, Марусь?

Хотя бы с кем-то попрощаться,
с кем раньше довелось встречаться!
Мои ведь пел же кто-то песни.
Неужто нынче онемели?
А впрочем, лучше неизвестным
остаться в этом скорбном деле.

Да нет же, нет!
Ещё не сны
ко мне приходят вместо яви —
качнулась груша у стены,
махнув приветливо ветвями.

Какие снились ей сады?
Какие дивные плоды!
На ней мальчишки и девчонки —
косички, чубчики, ручонки...

А я, наверно, не жила —
не родила...

Вот над стеной светают глазки
полтавской звонкой ребятни.
Уже наслышаны они
про ведьму, что пришла из сказки.

— Ты видишь? — Где?
— Там, там она!
— Ты правда ведьма? Грушу на!
— А ведьма лешего боится?
— Нет, леший ведьмы сторонится.
— Ты здесь одна?
— А спишь ты где?
— Ой, ведьма, прячься от людей!
— Слушай!
Идут по твою душу!

Вот и всё моё с людьми прощанье —
дети.
С ними проще и теплей.
Спасибо, Жизнь, за Дерево Познания,
хотя его и охраняет Змей.

Говорят,
что смерть — безликая царица.
нет, смерть у нас,
живых,
ворует лица .
Теперь она вошла в тюрьму, взяв палача подобье.
*«Не рыдай мене, мати, зрящее во гробе!
Не рыдай мене, мати, зрящее во гробе...»*

...Возле ворот толпились любопытные.
И что там люди только ни плетут —
простые, непростые, именитые:
— *Везут Марусю! Гляньте-ка, везут!*

Везут Марусю далеко за гоны,
за океан седого ковыля.

Бывает с маковку людское горе,
бывает горю маковка — земля.

Уж пьяный Дзызь медвежью губу* кривит,
поводья всё натягивает: «Н-н-о!»
Один за жизнь, как тот репей за гриву,
цепляется,
другой же — лишь бы живу,
а вот Чурай Марусе —
всё равно.

А там, в степи, стоят, как привиденье,
ворота в никуда,
в небытие.
Но казнь Марусе кажется спасеньем,
Марусе смерть даёт спасение.

Все в степь,
все в степь, —
кто на возу, кто пеший...
Гук удивлённо:
*«Господи, прости!
Любой из нас Маруси больше грешен.
Выходит нам со смертью по пути.
Какому диву вы пришли дивиться?!
Уже ль с Марусей тесно на земле?
Такую видать красоту в петле! —
Да самому, брат, легче удавиться».*

Ничью судьбу толпа решать не вправе,
но ей не запретишь участвовать.
И хорошо, что нет полка в Полтаве.
С кем воевать?!..

Лесько Черкес.
Едва не плачет парень.

* Медвежья губа — грубая, большая.

Кривая сабля и горячий конь.
Прав был Пушкарь —
не так страшны пожары,
страшной толпы безудержный огонь:
— Схватить бы девушку и — на коня.
И никакие не страшны нам черти.
И, может быть, Маруся за меня
пошла, коль я бы спас её от смерти.
Когда-то был обычай — казака
от смерти девушка спасти могла,
когда в мужья его брала.
Отдайте, люди, мне Марусю!

— Как?
Ты станешь девушкой, Лесько,
Маруся — парнем?

— Невозможно.

— Она ж на татя не похожа!

— Сейчас совсем другой закон.

...А люд идёт за нею, все за нею...
Ах, жажда зрелищ!
Ах, толпа, толпа!
Сама не знает, что творит.
Глупа
во все века
и вряд ли поумнеет.

Поп впереди с крестом идёт.
Похоже
на крестный ход —
и к виселице.
Боже!

— Везут Марусю или тень Маруси?!

— *Спаси нас, Боже, Господи Иисусе!*

...Молитву поп толчёт, как в ступе воду.
И к горизонту стелется трава.
Кричит над степью чайка.
И слова
отца святого не слышны народу.

Поп дочитал. И снова двинулись.
Прошли версты уж полторы.
Остались далеко за спинами
Полтавы крайние дворы.

На погосте полотенцами кресты
перевязаны, как сваты.

Остановились у помоста.
Дырою в небе — солнца круг.
И от помоста до погоста
петля качалась на ветру.

Вперёд пробилась молодлица,
держа сынишку на руках.

— *Здесь быть ребёнку не годится.*

— *Чего ж ей дома не сидится?*

— *Прёт, как на горку, впопыхах!*

— *Пустите, люди, мать поближе!*

— *Чью?*

— *Чураиха б не дошла.
И Богу б душу отдала.
Она и так там еле дышит.*

— *Пустите мать Григория.*
Ой, горе-то, горе...

Над пёстрой толпой прокатилось:
«*Везут!*»

Расступаются люди, дорогу дают.

Шепчет палачу сапожник, проныра ловкий,
чтобы тот дал ему потом кусок верёвки*.

Умолкли все, никто не шелохнётся.
Лишь две кумы, соседки Вишняка:

— *Ты посмотри, идёт и не споткнётся!*

— *И под петлёй, а смотрит свысока!*

— *Да, Чураиха-то не умирала, —*
глаза, коса..., ну вылитая мать.

— *Чуть-чуть повыше...*

— *Мать уже завяла,*
а дочь идёт на людях умирать.

— *Убивица. А красота какая!*

— *Взглянуть — и шапку с головы долой.*

— *Уже слетела вместе с головой*
Григория...

— *Видать, судьба такая.*

— *Да перед кем же шапку-то ломать?!*
Такому не бывать.

* По поверью, верёвка с виселицы приносит счастье.

— *И не провалится под нею твердь!*

— *Угомонитесь!..*

Человек идёт на смерть!

...Тяжелело небо тучами,
думой — степь, глаза — печальями...
Люди,
дюди,
смесь гремучая, —
где же Истина
Изначальная?!

Шла она...

Виднее виделась
людям с каждым шагом к смерти.
Человека Бог не выделит,
чтоб над ним смеялись черти.

Шла она. Летели взглядов камни
и круги спасательные слов.
Кто в душе был Авель, кто был Каин,
кто и тем, и этим быть готов.

Шла она, и страшной, неуместной
на фоне туч и той петли была
таинственная красота невесты.
Мария шла!

И в той смертельной тишине единой,
когда она целует образок —
на той высокой шее лебединой,
что кровь, мониста алого виток.

Палач и тот замялся под петлёю.
Столкнувшись в первый раз с красой такую,
убогий,

он не мог представить дела,
когда бы жертва палача жалела.
А тут увидел в девичьих очах,
что деве жалко палача!

Присутствие же лиц официальных
необходимо было для того,
чтоб узаконить жертвы миг прощальный
и незаконные дела своего.
Прости нам, Боже, наши прегрешенья!..

...Вдруг с ходу всадник... Лошадь на дыбы...

— *Остановитесь! Гетмана веленье
читайте, люди!* —
Это Искра был.

— *Иван!*
Успел!
Как Дорошенко — в Крым! —
Кричал Лесько и тряс его, как грушу.
Застыл Горбань, как провинившийся послушник.
Все люди вдруг заплакали навзрыд.

Ещё Иван и повод не отдал,
и слёз река не вытекла из русла,
а Шибиллист в Полтаву поскакал:
обрадовать больную мать Маруси.

Едва ли не лизнув печать,
Горбань отдал указ бурмистру.
Тот глянул на указ, на Искру,
на Горбаня, на палача.

— *Читай.* — Сказал он атаману Гуку.
И Гук, со свитком подняв руку,
что силы рывкнул:
— *Люд честной,*

*наш гетман
наделённый высокою властью,
указ такой
прислал, явив своё участие!*

**«Известно стало нам, что грех
случился в городе Полтаве,
который должен быть при всех
наказан смертью.
Только вправе ль
казнить своих людей, когда
Украина кровью истекает,
рожденья смертность превышает
по весям и по городам.
А горше горького — неволя,
недолей сделавшая долю.
И если станет одной смертью больше,
то и недоля наша будет дольше.
Чурай Маруся виновата
лишь в том, что поддалась отчаянью.
Не преступленье, а случайная
то за предательство расплата
была со стороны Маруси.
Ещё нам всем небезызвестно,
чьи пелись и поются песни;
они, как птицы в поднебесье
над нашей украинской Русью.
Тем паче ныне, мучась и страдая,
когда война такая и разруха.
Нам помогает выжить сила духа,
а силу духа песня укрепляет.
О наших битвах — на бумаге голо.
А песня человеческой души —
Огонь Творца.
Певца карать на горло —
позволить чёрту душу заложить!»**

Гук, помолчав немного. Гука веко
чуть дрогнуло — продолжил дальше чтение.
И голосище ж был у человека!
На пять Полтав — без преувеличенья:

**«За песни, что для нас она сложила,
за те страданья, что она страдала,
и за отца, которого лишила
Варшава головы. Но не склонила
чела его при жизни.**

**Не хватало
Полтаве жизни дочь его лишить!
А посему Марусе должно жить!**

**А судьям — гнев мой за самоуправство.
Украйна есьмь и будет государством.
Знать должен гетман — где, за что, когда
казнят своею властью города.**

**Мы правы только правый суд верша.
Но мы не боги, чтобы воскрешать».**

Указ прочитан был публично,
и, чтоб такого больше не бывало,
помилованье и в суде столичном
обжалованию не подлежало.

Поскольку дело не дошло до казни,
а смерть свою она пережила,
засохло эхо пошлых пересказов:
Чурай и так наказана была.

...Петля качалась на ветру ненужно.
Толпа топтала от помоста стружки.

Иван
(в плечах сажень косяя)

просто
одним ударом лестницу с помоста
снёс.
А к Марусе женщина бежала, —
«Оправдана! Оправдана!» — кричала.

Маруся же была белым бела.
Она при жизни смерть пережила.

*«Иван, она, наверное, того...
Ты подойди, авось, глядишь, очнётся».*

Она стояла. И краснело солнце:
осенний ветер растирал его.

И не было ни радости, ни чуда,
отчаянье лишь:
умереть не дали.
Как будто бы в заоблачные дали
душа взлетела, плоть оставив людям.

Когда же мать к Марусе подвели,
опомнилась как будто, зашаталась.

Казалось, оттолкнуться от земли
она пыталась, но не получалось.

И, как слепая, руки пред собой
держала, вниз ладонями держала,
невидимой опоры ожидала.

*«Ты спасена,
Маруся!
Бог — с тобой!
Всё хорошо», —
сказал дивчине парень.*

Дочь с матерью соединились в паре.
«Всё обошлось».

Вот видите, родная» —
дочь говорила матери,
целуя
её седые косы...
Степь без края...
...Мать и дитя
не поминайте всуе.

Раздел VI

ПАЛОМНИЧЕСТВО

— Небо в тучах осенних, как степь в ковылях.
Льют дожди, дуют ветры неласковые.
Повезли мою маму на белых волах
неоплаканную, неоплаканную.

Отдыхайте, забудьте земную беду,
не отыщут там вас ни болезни, ни муки.
Я за вами иду, а за мной не пойдут,
не пойдут никогда мои дети и внуки.

И от нас — никого на земле после нас...
Никакого от нашего рода росточка...
Огородное чучело в шляпе сейчас
охраняет размокшие кочки.

Я сама уж не знаю, жива ль, не жива ль.
Только знаю одно — чтоб сомкнуть свои веки,
прожила свою жизнь мать на птичьих правах,
сохраняя в себе человека.

Я ношу её смерть. Умоляю простить.
Я ношу её смерть на душе, как провинность.

Я ношу её смерть...
Грех мой не соскрести
так легко,
как с лопаты налипшую глину.

...Недолго в маме жизни уголёк
протеплился под пеплом прожитого.
Крестом на матице избушки потолок
окстил усопшую на дальнюю дорогу.

В далёкую дорогу на тот свет
печалью жёлтой клёны провожали.
И той привет,
уже которой нет,
курлыча, журавли передавали.

И всё ж её оплакали дожди
и рану, что стучит в моей груди.

Поцеловала холмик и пошла
замаливать грехи, просить прощенья.
Земля и небо — жизни два крыла,
а смерть есть крыльев двух соединенье.

...Лицо умыла.
Звёздный свет в горсти...
Прохлада ночи прогнала усталость.
Смогу ли я когда-нибудь постичь
тот свет, в котором мать с отцом остались?

Листва ступни щекочет и шуршит.
Морщинит ветер лик дорожной лужи.
И ни одной со мной родной души.
Чужая всем.
И мне никто не нужен.

Пока тепло, ночью на лугу.
А впустит кто-то —
перебуду ночьку.
Но чаще на ночь оставаться не могу,
где детворы — как фасолин в стручочке.

Случилось что-то с голосом моим —
готов он, как солёная слезинка,
сорваться в плач по мёртвым и живым
с ресницы на щеку,
на слёзную тропинку.
Я от живых ушла, а к мёртвым не прибилась,
иду, надеясь на людскую милость.

...Вдогонку слышу иногда: *«Убогая...
Черна, худа — коса да позвоночник...»*
Нет, люди, нет, пока что не у Бога я,
но душу наполняю Им,
выплакивая очи...

Случается, что слепну от красот.
Остановлюсь — дыханье замирает.
Природа — Нечто есть такое, что не знает
предательства, —
живёт себе...
Живёт,
не требуя ни повышенья чина,
ни должностей, ни званий, ни наград,
ни выхода на праздничный парад...
Зачем парады ей —
она и так едина.

Рябины кисти поджигают крышу
небесной сини.
И огонь всё выше...

Степная чайка бьётся об дорогу.
Ковыль кочует —
благо налегке.
*«Чего хромаешь? Проколола ногу? —
С вопросом дьяк, сидящий на пенке. —
Присядь. Небось, устала-то».*

«Спешу я».

*«Не ближний свет. Одна-то...
Ну и ну...
И я спешил. Теперь едва дышу я.
Бежал по кругу — думал, что в длину.
Торопимся, как будто не успеем
с душою, словно с козами на торг.
А тот, кто время обогнать посмеет,
того на место возвращает Бог».*

«А Киев далеко ли?»

*«Нет, не очень.
Варшава дальше, — улыбнулся дьяк. —
Мы не лягушки,
с кочки да на кочку
не прыгнем,
даже если свистнет рак.
Тебе бы из лещины посох...*

*Да клён вокруг...
Водицы хоть испей. —
Худючий и колючий, как репей,
но добрый он, как большинство курносых. —
Я буду языком тебе до Киева, —
тебе спокойнее и веселее мне.
Какая ты... как будто радость выела
роса из глаз твоих,
а солнышка всё нет».*

Чужой старик, а вот, скажи на милость,
на белом свете нет его родней:

*«Хотела жить,
а жить не получилось,
хотела умереть —
не дали мне».*

«Боль не сгорает, как солома в грубке.
Страданьям недосуг нас украшать.
Могла б ты душу, как вино из кубка,
из тела выплеснуть, моя голубка,
твоя так не светилась бы душа.
А как подумать, девонька моя ты,
то кто из нас на свете не распятый?
Да, жизнь не мёд, не яблоки на Спас —
распята доля каждого из нас.
Не всякому твоя по силам ноша,
но есть на свете люди, коим горше.
Ты из Полтавы?»*

«Да, я из Полтавы. Зовут Марусею».

*«Наверняка
мамаше грач какой-то накартавил. —
Ага?
Чернявая!
Прости ты старика
за эту шутку.
Как там на Гончарной?
На Чеботарской, Киевской?..
Ты чья?
Какие песни там поют печальные
про Остряницу всё, про Чурая!»*

*Глаза у дьяка молодые с искоркой,
и любопытный взгляд, что у мальчика.
Мне что-то в них напомнило отца,
наверное, доверчивость и искренность.*

*«Люблю Полтаву. Люди там не сонные.
И город славный.
Где ты там живёшь?»*

* Грубка — крестьянская печь-плита для приготовления пищи и обогрева жилища.

*Купцов полтавських видел и в Саксонии,
и в Шлёнске...*

*Деньги их не нарисованы,
купцы не пропадают ни за гроши.
Там сабли по кладовкам не ржавеют.
В Полтаве мыши сбрую не грызут.
Там на полатях тихо не стареют.
И за отчизну-матушку радея,
оттуда порох гетману везут.
Какие блюда там! Какие вина!
А как поёт одна красавица-дивчина!...»*

Хотя бы не узнал!

*«Из хуторка,
а не из самого я города».*

*«Не важно.
Красивая и смелая...
Не каждая
решилась бы идти одна.
Пока
«поводыря» тебе из клёна состружу,
послушай.
Я худого не скажу.
Ещё хоть пару лет война походит,
как шла до этих пор,
по нашим землям,
будет мор,
чумой земля уродит.
Прошёл я земли поднебесные,
как некогда святой Иов,
куда ни гляну в даль окрестную,
езде лилась людская кровь.
Там отступало войско Острияницы,
тут села сбил копытами Кончак.
А там, в долине речки Солоницы,
слезами горя высох солончак.*

Вон видишь — крест — а подле птичьей стайка,
и та уж речка высохла на треть, —
поляки тут скрутили Наливайка,
на лютую отправив смерть.
Его спалили в металлическом быку*.
Он жил и умер за свой народ,
как подобает казаку.
С пригорка вон того видны —
«пенаты» Вишневецкого —

Лубны.

Там жил Ярема, сын Раины**,
мучитель страшный Украины.
Упырь, каких не помнят были,
надменный словом и челом.
Ему и панцирь и шелом,
наверно, выковало зло,
чтоб латы душу задавили.
Монастыри он в псарни превращал,
попойкам предавался и разврату.
Девчат по сёлам «лотосом пуцал»***
и «красных петухов» пускал по хатам.
Когда бежал степями на Волинь,
от дыма задыхалась и польнь.
Где был дворец, лежат одни руины.
И плачет по церквам душа Раины...
Вот и готова «третья нога»,
и вся недолга.
Пусть больно неказистая,
но собак
отгонишь ею, — улыбнулся дьяк. —

* В других источниках говорится, что он был четвертован в 1597 году в Варшаве.

** Раина Вишневецкая (Могилянко — по девичьей фамилии — Могила; 1589–1619) боролась за православие против католичества и униатской церкви на Украине.

*** Иеремей (Ярема Вишневецкий; 1612–1651), его банда насилвала девушек, потом завязывали низ юбки или платья над головой, связав руки — отпускали с обнажённой нижней частью тела (для позора).

Пойдём.
И да поможет нам Пречистая.
Марушь, скажи,
рождение —
божье предрасположение
иль наказание длиною в жизнь?»

...Лубны прошли мы.
Вороньё кружит.
И снова степь. И снова даль без края.
И я молчу, и дьяк уже молчит.
И горизонт душа переступает...
О, далью человек неизлечим.

Село. Но как-то странно в нём и жутко.
Уходит день замаливать грехи.
Стогами хаты кажутся.
Побудку
не прокричат к рассвету петухи.

На всё про всё — две женщины случайные.
На лицах их, как след от топора
на дровнице — не горе, не отчаянье —
а чёрной безысходности дыра.

А дьяк бодрится. Подтянул ремень:
«Село Семёновкой зовётся.
Пойдём к Семёну.
На ногах весь день.
Не ночевать же под «цыганским солнцем».

Избушку двери подпирают.
Кроты в полу, а в потолке — дыра.
«Вниз глянешь — ад,
вверх — прямо к раю, —
дьяк мрачно шутит, —
выбирай.
Хоть плохонькое, а затишье.

Грешно и весело живём —
не всё, что Бог диктует, пишем,
не всё, что Бог даёт, берём.
Тут от Лубен до самой до Волыни —
бурьян, терновник да чертополох .
Иеремей здесь погулял!
С тех пор — поныне —
все сёла вдовьи.
Об отце и сыне,
о муже помнят женщины да Бог,
да сёл названья из мужских имён:
Панфил, Прокон, Григорий да Семён».

...С рассветом вышли.
В гулкой тишине,
к зиме готовясь,
вяжет рукавицы
из паутины бабье лето.
Спицы
лучей, искрясь, мелькают...
В стороне —
ржавеет рало во дворе.
Подкова
висит над ветхим порогом.

Снова идём.
В Семёновке уснуть не получилось.
Всю ночь казалось, что ходил Семён —
то в дом войдёт, то выйдет вон.
Воспоминанья в сердце шли со всех сторон...
Неужто сердце снова плакать научилось?!

От Лубен и до Киева — свечи —
свечи-колья
вдоль дороги мне мерещатся.
Времени река над ними плещется.
И нынешнему их утешить нечем.

И слышится мне, как истлевшие кости
гремят, дорывая лохмотья сермяг,
пугая ворон.

И встречают бродяг
пустые глазницы с тоской о погосте.
И только черный одинокий ворон
сидит и ждёт грядущих лихолетий.

*«Для горя, как для ворона, просторен
родимый край, и мы за то в ответе, —
перекрестился дьяк. —*

*Спросить бы эту птицу
О Байды правнуче,
как так могло случиться,
что предал князь Ярема славу деда
и палачом стал своему же люду?*

*Ему здесь каждый кустик про Иуду
готов кричать:*

Ты предал, предал, предал!»

...Поля уж дымка пеленала.

Песня сердце наполняла:

«Во Полтаве, в славном городе,
пьёт-гуляет добрый молодец.

Байды удаль молодецкая
удивляет князя Вишневецкого:

— И какого рода-племени
эта сила несказанная?

Почему до поры-времени
не казался на глаза мои?

— А я Байда, Байда Вишневецкий
что меня казнил когда-то царь турецкий.
В басурманском Стамбуле в плен меня схватили
и под печень за ребро крюком зацепили.

Больно заскучалось мне средь кущей райских —
целое столетие не видал Украины.
Отпусти на землю, — говорю Петру я, —
посмотрю на деток и пусть вновь помру я.

А детей немало во колене третьем.
Что с ними случилось за это столетье?

Опустил Апостол
для меня, для Байды,
лестницу из рая
к рябинам Украины.

Приказал Ярема гайдукам:
— Хватайте
и снова под печень за ребро цепляйте !

Висит Байда — седая голава —
ни день, ни два...
Молвит Байда,
Байда Вишневецкий:
— Лучше бы повесил вновь меня султан турецкий!
Мука на крюке — ещё не мука.
Мука — глядеть и видеть такого внука».

*«Ой, девонька, мне всё равно, ей право,
что Байда твой — теперешняя слава.
Но голос твой, и твой, и соловьиный,
есть соловьиный голос Украины.
А Украина — это ты, Маруся,
с Карпатами и Киевскою Русью.*

*Я пел в церковном хоре и на клиросе,
духовное и светское певал.
Знавал служителей величественной лиры сей,
от баса и до дисканта знавал,
но я такого,
как твой голос,*

не слышал.

Душой поёшь , дивчина из Полтавы!
Где научилась ты такие брать октавы?»

«Я пела то, что бабушка и мать,
да кобзарям захаживать случалось,
да и само собою напевалось
откуда-то... Не знаю, как сказать...»

«Канон с риторикой считаю я своими,
но, девонька, душа жива не ими.
Пишты сладко, в ритме,
и жуют и пишут
о трёх персонах Божьих.
Это слово
послушаешь — нет ничего живого:
красиво,
но, увы, оно не дышит.

Поднаторели наши рифмоплёты,
чтоб им ни дна довеку, ни покрывки...
Порочны мыслью, коротки умишком,
плешивы,
в тридцать старики...
Да что там...

Снаружи — ангел,
дьявол — изнутри...
А в сёлах плачут кобзари!
Или такие вот, как ты, девчата,
поют печаль великую.
Хотя
ещё Украина в слове не зачата,
когда-нибудь, даст Бог,
родит дитя.

Что пишут нынче, то ещё полова,
а не засев.

*Хотя и грунт готов,
и есть у православных «Часослов»,
не слышно Слова,
нам не слышно Слова.*

*Все пишут всё кому-нибудь в угоду,
первородство продали, как Исав*.
А кто напишет или написал
большую книгу нашего народа?!
Склонился ль кто над книгою великой?
И вдохновения свеча ль дрожит
у летописца с Иисуса ликом?
Иль книга где-то в сундуке лежит?»*

*...И снова путь. Ковыль, полынь, могилы.
Артёмовка, Григорьевка, Панфиловы
Остаповка, Карпыловка, Тишки...
Идём, идём сквозь горе напрямик...
На покаянье...
Дева и старик...
Друг другу так близки, так далеки...*

*Повозка по селу протарахтит.
И снова тишь тонка, как паутина.
Себе ли, мне ли что-то дьяк бубнит.
Прислушаюсь к нему:
«Ах, Украина!..
Когда я в бурсе изучал науки,
Афины, Рим прошли чрез мои руки.
Народы были!..
Римляне и греки!..
Деянья их — на многие
на веки...*

*Доставил аист нам бы в колыбель
Гомера из-за тридевять земель.
Оружья звон — века у нас в ушах...*

* Исав с голодухи продал первородство младшему брату-близнецу Иакову.

Какой к нам только ни врывался враг.
У нас и боги были и герои,
Но пишут ли, как о руинах Трои,
о Киеве?
В дали необозримой
была дорога страшная из Рима.
И назывался Анниев тот путь.
Страшна его (никто не спорит) суть.
Распятыя от порога до порога,
из ада — к Богу?
Ужасно*? Да!
Но не настолько много,
чтобы сравниться с нашей —
до Вольни —
отсюда глянуть — кровь навек застынет.
И кто расскажет, что здесь было...
Обречены молчать могилы.

С восходом солнца не встаёт
неназванное летописцем.
Из бытия в небытиё
идут неузнанные лица...
И через много лет,
о том, что было, позабудет свет
и не прольёт слезы,
а что? — дорога — ездили возы...
В отличие от сказанного Слова,
написанное —
памяти основа.

Историю-то пишут за столом
пером,
а мы вырубываем топором
всё то, что предки написали кровью!

* Дорога (Рим–Капуя, 350 км), вдоль которой распяли 6 тысяч участников восстания Спартака.

*И о чём
молчат могил
без имени и без креста?
Известны ли печальнее места,
чем этот путь из Киева в Лубны
в следах войны!?!..*

*Идём, едем, а нет и половины
дороги нашей, да хоть не один...»*

*...Что капли крови — рябинки рябины.
Туман плывёт, как белый лебедин^{*}.
Растёрла осень краски на мольберте —
от красок жизни и до краски смерти.*

*Смарагдово-пятнистые леса.
И горизонт — как след от колеса.
Разрушенные кладки.
Облупленные хатки.
Сгоревший хлеб.
И пусто на земле.*

*И молвит дьяк:
«Где будем ночевать?
Про соль, про хлеб и слыхом не слышать.
Вот путешествую, хотя уже не молод.
Земля огромна, радости — на грош.
Вокруг беда, а что с беды возьмёшь —
болезнь да голод.
Равняет смерть любовь и нелюбовь
героев, трусов и рабов,
и всё, что лепо и нелепо...
Дай Бог, чтоб дух наш не упал.
Пока надежда не ослепла —
и вера наша не слепа.
А тут ещё комета*

^{*} Лебедь.

*и слух о скрещённых в небе мечах,
о голом волке,
будто с того света
явившемся...*

*Хоть правды в тех речах
всего-то ничего.*

Нагнал я страха?

Да ты не бойся. Я уж не о том.

*Хотя б корчма, какая возле шляха
или жильё живое — дом с огнём.*

Пойдём.

Тебе бы хоть воды напиться.

Ты — первая. Авось, не испугаются.

*Заметила — чем ближе мы к столице,
тем больше люди замыкаются».*

*...— Дивчину хоть впустите,
что вам... жалко
охапки сена и глотка воды?*

*— Идите с Богом. И своей беды
хватает. Сним вповалку.*

*«Оно-то так. Понять их можно.
Кто мы? Откуда? Мор вокруг.
На этих горьких подорожьях
не разобрать — кто враг, кто друг.
Пойдём, пока огрызок солнца
ещё не поглотила тьма.*

*Не приютили «терема» —
под небом ночевать придётся.*

*А вот, Маруся и кладбище.
Шатёр небесный.
Как по мне,
среди этих статуй в бурьяне,
жить можно без воды и пищи.*

Живых живые убивают.
Живого мёртвый не убьёт.
Возможно, чья-нибудь, летая,
душа крылом тебя черкнёт, —
не бойся. Мы средь райских кущей.
И, как в раю, еды полно, —
горькущей, правда, и кислоющей, —
но нынче — это хлеб насыщенный.
Другого хлеба не дано.
Детишкам не сказала Ева,
каким на вкус был змея дар.
Здесь зёрна знатного посева,
что не сгорали от стыда.
Гляди, какие имена
написаны! Какие склепы!
Мы в этом обществе нелепы.
Мне что-то стало не до сна.
А вот ещё надгробье...
Стой!
Никак живой!..
Сидит и нас не замечает.
С великою, видать, печалью
пришёл сюда.
Беда...
Не реагирует никак
Поляк —
Фамилии-то всё — шляхетские —
Яблонские да Вишневецкие...
Он очень стар.
И он нашёл
всё то, за чем пришёл.
Я думаю, что это кладбище —
его последнее пристанище.
Оставим старца.
Чем ему поможешь?
Одни кричат:

*«От можа и до можа!»**
А этот человек — несчастный старец —
живёт, как мы.

И не пристало
его нам беспокоить.
Прочь
пойдём, голубка.
Скоро ночь.
Потомки наши будут отмывать
печали эти от крови и дури.
Нам ни к чему друг друга убивать.
В том
власть имущих
надо обвинять,
а не народы, нации, культуры...»

...Утром пожевали терпких раек.
А воды напились из ключа.
«Мы себе судьбу не выбираем, —
молвил дьяк, —
*дорогу ж — повсякчас**...»*

Лес верховьем тучи разгоняет.
Под ногами шелестит листва.
Слева входят, справа вылетают
дьяковы мудрёные слова...

Но это что? Какие-то огни?
Иль (почему-то жёлтый) свет гнилушек?
Подходим ближе.
Боже мой!
Неужто?!
Средь леса свечи!
Да, мой Бог, они!

* От моря до моря — выражение о планах создания Великой Польши от Балтийского до Чёрного морей.

** Повсякчас — всегда.

Лежат —
со свечкой руки на груди —
неведомые люди.
В небо — лица.
Услышала — сказала б — небылица.
Живые ли?

*«Маруся, погоди,
не падай в обморок.
Та ночь была средь мёртвых,
другая будет средь полуживых.
Видать, каким-то страшным лихом тёрты.
В чумные годы видел я таких.
Глянь, шевельнулся —
руку обожгло
горячим воском, со свечи оплывшем.*

— Откуда вы под это небо вышли?

— С Волыни.
Наше вымерло село.

Едва дыханье поднимает грудь.
Лицо — земля.
И белые рубашки.

— Куда идёте?

— Шли куда-нибудь.
Теперь пришли.
И здесь такие ж пашни...

*«Эх, девонька...
У них там, на Волыни,
какой-то больно плач горькопопынный.
О, там краса— волшебная краса!
А голоса, какие голоса!*

У них рубашки...
каждая — как снег.
И вышито девичьими руками
(узором чёрно-красным),
как по ней,
судьба стекает горными ручаями».

Рассвет забрезжил...
Свечи догорают...
«Да эти хоть тихонько умирают, —
дьяк отозвался. —
А, бывало, рожь
входила в колос — выпасом топтали.
Как вспомню —
и теперь бросает в дрожь —
в мученьях страшных люди умирали...
Тебе не надоел я, разговорчивый?
Частенько тешу сам себя словцом.
Молчанье — даже и не позолочено.
А слово — золото,
данное Творцом.
Ведёт, ведёт судьба...
И, как в ларец,
всё в душу складываю
и льну
к земле уже,
но ширь и глубину
я не постиг ещё...
Слепец!»

«А вы бы взяли всё да написали,
пока при памяти и при уме».

«Я написал, да сумку своровали,
подумали, что денежки в суме.
Награбил, мол, церковного дьячишка, —
у вора вору что-то слямзить — в самый раз.
А что на оном ветхое платьишко,

так это просто для отвода глаз.
А вновь перо брать в руки поздновато,
да и боюсь — не выдюжу уже.
Седьмой десяток.
Руки, ноги — вата.
На крайнем я, голуба, рубеже.
Когда-то мысль и слово были в паре,
тепер же — порознь мысли и слова.
Теперь моя не может голова
заставить их про общее гутарить.
Потух мой взор, не вижу ближе рук.
На дальнее недюжинная сила
нужна
и время.
На краю могилы
великих обязательств не берут.
Мои собратья в жизнь вошли успешно:
кому — слов дёготь,
а кому — елей...
Они в каретах ездят,
я же — пеший,
они — дорогой торной,
я — своей.
В миру Емеля я.
Моя неделя.
Мелю себе про правду и добро*.
А может гусь я? —
съесть не одолели,
но щипан был
и вырвали перо?
Я обойдусь без денег и без славы,
не надобна мне сильних похвала.
Но мне бы мыслью поделиться Главной
да так, чтоб **Главной** принята была.
Своих я читателей не вижу
и, всё ж, когда совсем не обойдусь

* Своего рода перефраз поговорки «Мели Емеля — твоя неделя».

*без них,
я к луже подойду поближе
и наклонюсь».*

...Дедок идёт, а рядом я хромаю.
Он говорит, а я в ответ молчу.
Уже сильнее на посох налегаю,
да и сума не так уж по плечу.

Во всём находит он свои красоты.
Дьяк молодой, ему ещё не сто.
Идёт... Сума — как ремеза гнездо,
и книга на груди за отворотом.

...Идём... Пески... Ни края, ни конца...
Идём, не зная — верно ли, неверно?..
Одна — просить совета у Творца,
другой — чтобы избавиться от скверны.

...Шла женщина, закованная в цепи, —
сплошной запрет на плотские желанья, —
поверила, что самоистязанье
поможет ей для достижения
высшей цели.
Пудовый посох,
а сама, как мощи —
покоится у безымянной рощи.
То ль грешница,
а то ли, так — блаженная —
в чужих осталась (для неё) краях...

...Печеро-Киево-Благословенная,
как голову
Гордея* убиенного,
выносит Лавра Солнце на крестах.

* Маруся сравнивает солнце с головой отца.

А вот и Киев с куполами золочёнными.
Благословенный древний Киев-град.
Но что это?!
Как на смерть обречённые,
дома стоят то серые, то чёрные,
то нет их — пыль, руины, чад.

*«Марушь, припомни-ка супругу Лота.
Разрушен город. Не гляди назад.
Окаменеешь, — тихо дьяк сказал. —
Всё это — гетмана литовского работа».*

Я оглянулась, но не превратилась
ни в столб, ни в камень*,
слёз не пролила.
Со звонниц сорваны колокола
и перелиты в пушки Радзивилла.

Нигде ни огорожи, ни сторожи.
Одни ушли, другие не пришли.
О люди, люди, о подобье Божие,

и до чего ж вы землю довели?!
Подобье ли? Горит моя Отчизна!
И с укоризной Бог на нас глядит...
Навстречу Радзивиллу вышел Тризна,
печерский пресвятой архимандрит**.

И обратился старец седовласый:
*«Вот ключ от града. Отворим врата.
Но пощади священные места,
да не смутится разум твой от власти».*

И он вошёл сюда, литовский князь,
как в спину нож вошёл.

* Жена Лота превратилась в соляной столб.

** Тризна Иосиф (г. р. неизв. — 1655 гг.), церковный деятель, писатель, с 1647 г. — архимандрит Лавры.

А в грудь — Потоцкий.
Меж двух огней — Богдан.
Здесь кровь лилась.
Три дня, три ночи огненная пасть
питалась пищей каменной и плотской.

С выжженной душой стоял древний собор.
Как головой убор,
над ним — тучи и дым.
Переступив порог,
волнуясь, мы стоим.
Полумрак едкой гарью пропах.
Да, Радзивилл — не благородный враг!..
В сизых световых столбах —
сбитые со стен осколки фресок,
пепел от икон и книг.
Не верится, что бы так
живое — живых!

В скорбную пустоту помолились.
«Сгорело — не пылилось, —
вполголоса дьяк. —
Эх!.. так, да не так!»

Я заплакала
и тихо вышла из собора.
Мы одиночеством одинаковы,
мой былинный город.

...Допоздна к Лавре добирались.
Ямы да кручи,
кусты да колючки.
Спотыкались...

Падали...
Запах плесени, копоти, падали...

«Глянь-ка, Марусь, землянки дымят.
Вкопались...
(свят-свят-свят!..)
как во времена батыевы,
в землю жители Киева.
А некоторые обжились,
плетнём огородились,
вокруг землянки обкосились.
А вон там обзавелись и ребёнком —
сушатся пелёнки.
Жизнь идёт...
Как сказано у Павла, —
живут благочестиво во Христе.
А мы — во прянике да во хлысте...
Потерпи...
Вот-вот и Лавра».

Когда мы к Лавре подошли, ночь глухая была.
Ворота заперты.
Нас Лавра не ждала.
Сидели люди у Святых ворот,
свернувшись, как улитки,
в себя вобравши ноги и живот,
давным-давно похоронив улыбки.
Закутанные в лохмотья грязные,
одинаковые и разные.
Тянут руки, Христа ради просят.
А что им дать? —
Третий день во рту ни крошки.
Осень
встречает всех по одинаковой одежке.
Бубнили, корчились в падучей...
А в небе тучи
над куполами высоко
крутили жёлтым медяком.
Но, зная про людей страданья,
не снизошли до подаянья.
Содом с Гоморрою из Ветхого Завета.

...Мы просидели с дьяком до рассвета.
Продрогли.
Давно не лето
Потом ходили мы по длинным коридорам,
по галереям, ответвлениям, рукавам —
народа толпы,
свечи —
кругом голова.
Пещеры?
Нет.
Подземный людный город.

*«Вот преподобный старец Агапит,
что излечил от хвори Мономаха.
А вот Алимпий. Этого монаха
знал как художника весь мир.
Вот,
— монах печерский говорит, —
сам Нестор, из мудрейших тех дедов,
труд исторический на множество веков
оставивший.
Он, в келье находясь,
так видел,
как не всякий с колокольни видит князь.
А дальше — всё святые и подвижники...
И Нестор был второй.
Уже Некнижником
его назвали;
трезвенник Мардарий;
Пафнутий, не имеющий имущества;
Сисой, который добровольно мучился;
и Пимен, и Софроний, и Макарий...»*

Не к месту будь...
вопрос мне душу взбудоражил:
на них ли только я должна молиться?
Не мученик ли — каждый,
со свечкою, с Волыни.

Эти лица
стоят передо мною и поныне.

Дьяк:

*«Мы ни в чём не знаем меры.
И ум наш за корягу зацепился.
Сысой, Мардарий — мученики веры.
А Байда... Разве он от веры отступился?
А что сильнее подпирает твердь —
молитва или Наливайка смерть?
Я сам когда-то стаивал в молитвах.
Я стаивал, а люди гибли в битвах.
Трилисы взяты, малое местечко, —
совсем недалечко.
За несколько дней вражеской осады
нет ни одной живой души с местечком рядом,
Да и в местечке-то — ни одного жилища.
Нет ничего. Лишь тишина над пепелищем.
Лишь ходит смерть с кровавою косою...
А ты пришла сюда и молишься Сысою.
Уже везде у нас есть школы братские —
сироты в них казацкие.
От Лохвицы до самой до Молдовы,
пол-Украины — то казачьи вдовы.*

*Детей без мужа ставить на ноги ой тяжко.
Беда везде, и помощь кто окажет...
Все горькие, и все безоборонные!
А им всё то ж — про подвиги Февронии.
Тогда ещё ты маленькой была,
как пролетала над землёй метла*...
В тот год распяли пятерых старшин.
Руками ляхов дьявол суд вершил.
И головы —
кто откуда родом —
поставили перед народом.*

* Метла — комета.

*А та жена хорунжего иль сотника,
что под столбом лежала нежива, —
ей можно и про Симеона Столпника,
что на столбе мерещил кружева?!..»*

*...Я не такой уж маленькой была,
когда ночное небо рассекла метла.
Он про отца, про Чурая,
и там лежала матушка моя.*

*Была зима. Сгоняли всю Полтаву.
Как раз на Водосвятие. Шёл снег
и на казацкой голове не таял,
и от стыда и крови не краснел.
Лежала мать, и косы в снег вмерзали,
и смешивался снег с её слезами.
На всю на жизнь мою,
пока жива,
в глазах моих — тот снег... та голова...*

«Ты почто плачешь?» — спрашивает дьяк.

*«Да как-то так...
Само собою...»*

*«Мы с тобою
замешкались.
Нам — к выходу пора.
А я забыл, как плачут.
Весь высох, как дубовая кора».*

«Нет. Эти слёзы ничего не значат».

*«Ну что ж, пойдём.
За Лаврой есть гостеприёмный дом».*

*...Нашли тот дом на Лавровых задворках.
За старым садом, у пригорка.*

Стол в две доски.
Потёртые скамейки.
Тяжёлый воздух, спёртый и прогорклый.

*«Уместнее людей считать поштучно,
а не по кучкам, — дьяк шепнул. —
Се-е-емейка!
Молчу про лес, не говорю про степь.
Счастливей тот, кто под плетнём свернётся
калачиком.
Пойдём-ка.
Сей вертеп
без нас обойдётся»..*

Мы и пошли.
Листья нагребли.
На ветвях ветер колышет колыбели птичьих гнёзд...
А может — это колыбели звёзд?
«Перина» мягкая и тёплая,
но, всё же,
земля сыра.
Веет свежестью с Днепра.
Не простудиться б старику на этом ложе.
Я что... я ничего... И мы бы спали,
да служки спать лежащим не давали.
Один идёт из-за собора
и тянет рясу за собою,
другой — прыг-скок через лужку —
собирает мелочь в кружку...

*...«Сон приснился мне в столице, —
дьяк прокряхтел и сел бочком, —
что варишь ты вареники в кринице
и ловишь листья решетом.
Если бы на грудь не ставили копыта
длиннополые мужи,
доспал бы до утра.
Лежи, лежи.*

Тьма солнышком ещё не спита.
Прожил я век. Теперь — как сухостой —
иссяк, облез и не пустил побега.
Впустили в мир, как старца на постой,
на ночь... И всё...
От альфы до омеги.
Хотя в одной деревне,
Тёмногайки —
тогда двадцатый год мне миновал —
меня пытались прикрутить до Гальки,
но я освободился и сбежал.

Потом ещё, за Дидьковою Греблею,
под Киевом, прибился я к одной,
ко вдовушке весёлой, озорной —
тогда бабахнул мне сороковой —
опять сбежал я:
много стала требовать.
Любил я панну, Птымченко-Заглобську,
дворцы заоблачные возводил.
«О раны Езу, пан муви по-хлопську!»* —
сказала панна. Я и развалил
всё, что успел построить.
Так и надо.
Несчастье было, счастье изошло...
В душе моей (что дальше, что рядом)
давно травой забвенья поросло.
Был регентом и был я канархистом**,
любил людей, а толпы избегал.
Я слыл сторонником крамольных истин,
духовному ярму не потакал.
В себя я верил, ни пред кем не гнулся
и не заметил, хоть и не слепой,
как разминулся я,
как разминулся
с землёй и небом, и с самим собой.

* О, раны Иисуса, пан говорит по простому!

** Канархист — канонарх, человек, который читает Канон.

Лафа для дьяка — летняя дорога.
Дорога — жизнь (и благо и грехи).
Чирик-чирик — и под стреху до срока.
А если нету собственной стрехи?..
Я был везде. Моя душа босая
исходила множество земель.
Я пил мальвазию и мушкатель,
курил и даже остюки овса я
жевал,
когда голодовал.
Бывал в варшавских казематах,
и ел в следах мышинных сухари.
Я исходил и Татры, и Карпаты,
и понял:
истинно богаты
те люди,
что сияют изнутри.
И всё ж, в какой бы ни был стороне,
как будто что-то плакало во мне:
«Иди туда и душу успокой
в краю родном, которому чужой».

Иду, иду... И бранный мой итог
ничьи глаза слеза не опечалит.

Иду, иду..
Далёко мой исток.
Вот-вот — и устье,
А душа — в начале.
Не зря неведомо нам, что душе дано.
Прости нам, Боже, прегрешенья наши!
А если б знали, то — какой ценой?!
Подумаю — и делается страшно.
Себя подобьем Божьим называть
не станет истинно подобье Божье.
Глянь, волю чёрта исполняет тать.
И сам Всевышний противостоятъ
ему не хочет или же не может...

*Великая беда над Русью!
Из дома ли идёшь, домой, —
ты с нею делишься,
Маруся,
своею песней и судьбой.
Ты донесёшь свою надежду
в Полтаву с Ворсклою-рекой.
Своими сердцем и рукой
тебя твой суженый поддержит».*

Ах, бедный странник,
добрый странник,
достойный, вещий, мудрый дьяк...
Жаль, ты — не молодой казак.
Жаль, не таким был мой избранник.
Не удивляйся, если я исчезну.
Боюсь привыкнуть.
Между нами бездна.

...Вот в било бьют,
как бьют в местах пустынных.
Ветра поют.
Дожди шумят. Земля остыла.
Как били преподобные,
так бьют и современные.
Хранятся мощи здесь нетленные,
творят дела богоугодные.
Лес по колено был Всевышнему,
когда сюда являлись гости.
Здесь оставляли люди пришлые
свои и черепа, и кости.
Был первым ветхий деревянный храм
с глиняно-каменным престолом.
И только Днепр, как тѣк вчера,
течѣт и будет течь по долам.
Теперь здесь целый город над Днестром,
Не счесть церквей, монастырей.
Душа здесь наполняется добром,

и человек становится добрей.
Без дьяка я бы здесь не обошлась.
Ему знакомы выходы и входы.
Быют в било, как в пустыне, а народа —
страсть!
Здесь ищут пониманья и участия,
как никогда.
Теперь не ровен час,
услышит ли Господь нас в одночасье? —
Такие судьбы разные у нас.
А я ж сюда — из дальнего далёка!

...Больничная церквушка, говорят,
имеется для пришлых для мирян.
И, говорят, — она под Божьим оком.
Князь (из черниговских князей)
её возвёл когда-то.
Пустым не будет то, что свято —
не счесть людей...
Идут, идут... и ставят свечи...
своим родным за упокой...
И делается людям легче
в обители святой.
И я покойных помяну:
отца, развеянного пеплом
и мать, что я свела в труну,
Григория, что так нелепо
в могилу лёг.
Вот отслужу
молебен и пойду обратно.
Ни друга, ни сестры, ни брата...
И разбужу ли, разбужу
для жизни сердце?
Жить-то надо...
Живой не ляжешь с Гришей рядом.

* * *

...Ночь последнюю мы мало спали.
На ноги служки наступали.
И кашлял дьяк. Дождь моросил,
вконец дороги размесил.

Вздыхает дьяк и всё бормочет:
*«Холодный свет теплеть не хочет.
Приходим в жизнь красивыми и чистыми,
уходим утомлёнными, седыми
со смутным представлением об Истине,
с надеждою на встречу со своими
родными».*

...Сон был короткий, но глубокий.
Весь мир казался невесом.
Проснулась — небо на востокое
в крестах вороньих.

Вот и всё.
Я огляделась — мне обнова —
цветной платочек. Дьяка нет.
Ушёл мой добрый друг и мне
решил не говорить ни слова!
Как не похоже на него, как не похоже!
Но, всё же...
И впрямь молчанье дьяка золота дороже....

Пора домой...
пора... пора...пора...
Не переполнят чашу моря воды
Днепра.
И всё ж, движение Днепра,
даст Бог,
не прекратится никому в угоду.

На редкость небо чистое и синее.
Голичерева* лечь бы на поляне
и догореть бы так, как те крестьяне,
что шли с Волыни...

Иду, топчу размытую дорогу.
Я помолилась — мне не надо много.
Душа не отрекается от прошлого.
Я человека встретила хорошего.

Его слова — зарубка на моей судьбе,
что и назвать судьбою трудно:
*«Маруся, помни, есть на свете люди,
которым тяжелее, чем тебе.
Ты помоги им...»*
Я ж помочь невилах —
холмы могил,
и сёла — как могилы:
Григорьевка, Семёновка, Панфиловы...

Ещё немного и войду в Лубны.
...Путь жизни
людям стал путём войны.

* Голичерева — лицом к небу, навзничь.

Раздел VII

ДЕДОВА БАЛКА

Соломенные старенькие крыши
зима добротнo снегом залатала.
На все ворота заперта Полтава.
Дозор казацкий на дорогу вышел.

Немного их, но видят далеко.
Лесько Черкес там с Искрою Иваном.
Снега, снега... Раздолье для волков.
И ни тебе ни пеших и ни санных.
Вихрится позёмка
до самой горизонта кромки.

Над чьей-то жизнью —
в небе пара воронов.
Изба на нити шляха — узелком...
Даль дальняя на все четыре стороны
перекрестилась чёрным ветряком.

...Полтава, милая Олтава*,
что я тебе сказать должна:
судьбы моей (уже) отава —
под снегом в сон погружена.

Полтава, пост у нас великий,
который год — великий пост,
ты сохранишь святые лики.

* Полтава до того, как стать Полтавой, была Лтавой и Олтавой.

...Надежда — ящерицы хвост —
теряясь,
отрастает снова,
(но старого короче —
новый).

Минувших лет великодни мертвецкие
тебя густым молчаньем облегли.
Здесь не было ни неба, ни земли —
огонь и дым, да стрелы половецкие.

Потом монголы, крымчаки и ляхи...
Но прорастали люди, как трава,
и тёрли очи:
*«Ты ещё жива,
Полтавушка!..
Не сгинула во прахе!»*

Затравленную, чахлую свободу
на свет явили.
Вывели из нор,
взяв под руки, чтоб показать народу.
Полуживую водят до сих пор.

Травой забвенья поросли руины.
Когда бросает человек подворье,
бурьян растёт.
Но нет страшне горя,
когда хоронит сына Мать...
Украина.

Еще не меч — в печи плавильной крица.
Нет под луной того, чтоб — навсегда.
Где пал Павлюк, там вырос Острияница.
И есть у нас Богдан.

*«Есть силы, —
думалось, —*

есть время.
**Не уяремят нас,
никто не уяремит».**

Но и года не прошло с тех пор —
Белоцерковский горький договор.
И снова ты осталась на потраву.
Лях приближается к тебе, моя Полтава,
чтоб вновь тебя поставить на колени,
чтоб снова стала ты его рабой.
Стекаясь, хуторское население
защиты ищет под твоей рукой.

За огорожу все, за огорожу...
К осаде городу не привыкать.
С минуты на минуту будет тать.
И устоять тебе, Полтава, должно!

...Глядит дозор в заснеженную даль...
Но ни врага, ни друга не видать...
Кружат над степью вороны и галки...
Лишь из Дедовой Балки —
дымок
в небо — как тополь...
Значит, есть кто-то живой, коли топят...
А живёт тот же дед Галерник —
видавший виды казак-характерник*.
Много лет неволю вёслами измерял
И не зря —
ложки, миски... — на манер
турецких галер.
Чудна резьба,
что ни узор — дедова судьба.

Никто так ловко
не сделает ни чесночницу,

* Смелый, гордый, сильный и отчаянный казак-сечевик.

ни солонку.
То в Полтаву вынесет, то в сёла.
Хоть возраст и не весёлый,
дед не унывает —
знай себе что-то строгаёт, вырезает.
В дедовых галерах Полтава чеснок для борща заталкивает.
А дед курит и помалкивает.

Из Балки — дым.
На всю степь — дед один.

Зашёл к деду Иван Искра:
— *Здорово, дед!*

— *И тебе не хворать сто лет!*

— *Однако, близко
от тебя дорога.*

— *Полсапога да ещё немного.*

— *Скоро пройдут ляхи.
По голове пройдут.*

— *Жаль будет папахи. —*
Пошутил дед и пододвинул для гостя скамеечку.
А сам продолжил строгать —
не плевать же деду семечки.

В избе тепло.
Пахнет деревом и травами...
Иван говорит:
— *Не правы вы.
За стенами Полтавы
перебыли бы.*

— *Они работу перебили бы.
Да и не нужен волчьей стае*

*тот, кто строгаает.
Не нужен.
Разве — на ужин.*

— Ну и шуточки у вас!

*— Было время — припас.
Не могу я сидеть на чужой печи.
Здесь всё своё — горшки и рогачи.
И домовой меня не чурается.
Иногда на очи является,
руку подаёт, улыбается.
Уйду — загорюет, заплачет.
Я не могу иначе.
Вышел бы с саблей,
да летами ослаблен.
А было —
моя сабля, как морковку, турок рубила.
Да и от них немало досталось —
много сабель на мне расписалось.
Потихоньку дышу.
Смерти у Бога не прошу.
Вырезаю людям плошки,
тарелки да ложки,
а у людей за душой — ни шиша
и на столе — ни крошки.*

*Помолчали
каждый — о своей печали.*

*— Кто про что..., а я про своё —
Чурай... как...?
Поёт?*

*— Подбита чайка.
Никто не слышал, чтобы пела.*

— И впрямь не дело.
Не дело для неё, —
она из тех, кто умирает, если не поёт.

— Какой-то стала нелюдимой.
Глядит в глаза, а кажется, — что мимо.
Всегда одна.
Скрыть пытается, что больна.
Суд и тюрьма, прощенье и поход...
Кто вынесет всё это?!
Кто переживёт?!
Не дай Бог — чахотка.

— Вот как!

— Вы ей — как отец. Может что подскажите?

— Нет. Свой крест у каждого...
Что воротник рвёшь? Разве духота?..

Здесь дело не в болезни, не в летах.
Необходимо духа воскрешенье.
Желанье жить — всем бедам разрешение.
Держись.
Отчаянье не красит казака.
Твой отец был первым после Павлюка.
Ты ж сын его!
На душу не махнёшь рукой.
Ты — не Григорий,
ты — казак другой.
Ещё ты встретишь девушку другую.
Красавиц много.
Выбирай любую.

— Возможно будет Галя или Настя,
но не будет счастья.
С Марусею мы — поля одного...
Один и тот же аист нас принёс.

*И ни её враг не сломал отца,
ни моего.
И поседели раньше времени от слёз
наши матери.
Тот час прошёл.
К тем летам не причалить.
И грозы новые скрестились на мечах.
С Марусей —
дети мы одной печали.
Себя читаю я в её очах.
Проходят в думах и в полубреду
и дни и ночи...
Я чего-то жду.
И сам, как дни и ночи, прохожу.
И лишь Маруси песни не проходят.
Как погляжу,
они дорогу сами в мир людей находят.*

*...Вечереет.
Печальная Мария глядит с иконы
и — в глаза,
где б ни стоял.
И хочется молиться,
всё рассказать.
В избе тепло.
При деле дед.
Кот умывается.*

*— Гостей незваных дожидается, —
заметил дед.*

*Иван:
— Со мной бы вы...
Тут недалече».*

*— Да нет, куда мне от кота и печи...
Тем паче —
голова снег не стряхивает,
а лет не стряхивают плечи.*

— *Простите.*

— *Бог простит.*
Счастливого пути!

...Дозор промчался:
«Эй!..Иван!.. агов*!..»
И конь Ивана вынес на дорогу.
Лил юный месяц молоко из рога —
и выходила степь из берегов.

...Дед покурил, жар выгреб из печи,
водой залил и вынес головешки.
Прислушался:
Да.
Степь пока молчит.
Великое не терпит спешки.

* Агов! — восклицание, типа «Ау!».

Раздел VIII

ОСАДА ПОЛТАВЫ

К полуночи испортилась погода.
Не прошенных гостей пурга встречает.
Выходит, что Полтаве помогают
и стены, и природа.

Стоит обоз в снегу глубоком.
Отяжелели сани льдом.
Не протаранить стены лбом,
да и не надо —выйдет боком!
Быть можно тем и этим живу.
Пусть — горячо, но — не печёт
И договор, **как будто мирный**,
был в Белой Церкви заключён.

— *Над нами Бог решил поиздеваться!
Метёт метель... И не видать ни зги...*

— *Пся крёв! Холоп нас перестал бояться!*

— *И не боялся. Хоть себе не лги.
И злить его особенно не надо.
Полтава впустит, но — вопрос — когда?
Ты помнишь, чтобы Украины города
врагу объятья раскрывали?..*

— *Что правда, то правда.*

...Рассвет.
Полтава — ушки на макушке.
Протри глаза, незванный гость,
смотри:
наведены, стоят на стенах пушки,
и при лафетах пушек — пушкари.
Никто с панами не заводит драки,
Врага не дразнит.
Прямо — чудеса!
И остужают гордый гнев поляков
белёсо-голубые небеса.

Туда-сюда — казаки на валах...
Стрельцы поляков держат на прицеле.
И уходить от стен не хочет лях,
и должной силы не имеет враг,
чтоб совладать с такою цитаделью.

От ожиданья войско инеем взялось.
Охрипло панство от проклятий.
И вымещалась на воротах злость.
Но клятые врата стоят, не смяты!

Чуть поостыв и укротив свой пыл,
неприятель объяснений попросил.

В ответ — УНИВЕРСАЛ
от Пушкаря на пике передал
один из казаков.
Он так звучал:
**«И вы, и мы есть равных два народа.
Нам не нужны варшавские клейноды*.
У вас — орёл,
король — всему глава.
У нас же — гетман свой и булава.
По случаю такому — наши мысли —**

* Клейноды — атрибуты власти.

нам дома быть на Ворскле,
вам — на Висле.
А договор?
Какой?
Нам неизвестно.

И посему — с печатью и гербом —
к вам обращенье.
Надо ль биться лбом
в чужие врата, если хватит места
и вам, и нам в своих родных краях?
Причём, и вы войной пощипаны изрядно
и сыром в масле не катаетесь,
ведь ладно
вопросы мира не решаются в боях».

*«Коль соблюдать мы будем договор, —
казаки говорили на валу, —
вновь попадёт Полтава в кабалу.
Зайдёт, как солнце за бугор,
свобода наша».*

*«Столько воевать,
чтоб хлебом-солью ляха потчевать?!»*

*«Жизнь без того — подвал без душника.
С женою не обмолвишься словечком.
Зачем чужого нам сажать на плечи,
коль своего хватает,
Вишняка?!»*

*«Нельзя в Полтаву недруга пускать.
Коль устоим, отсюда будет легче,
удобней бить по Посполитой Речи.
Да исполать нам, други, исполать!»*

Томились от безделья казаки.
Перетекал песок в часах песочных...

*«Да, ничего нет хуже, всё-таки,
чем догонять и ждать».*

*«Уж это точно.
Пальнуть бы солью иль пшеном, хотя б,
да у самих детишки есть хотят».*

*«И то.
Быстрой они б с решением чесались,
а не мечтали б о блинах на сале».*

Гук со стены горячее словцо
бросает осаждающим в лицо...

И лишь Горбань — в жестокой лихорадке:
*«Впустите ляхов!
Будет всё в порядке!*

*Не пустите — накличете беду!
Повесят всех, коль силою войдут!
Необходимо договор блюсти,
чтоб всех спасти!»*

Вишняк,
тот крутит-вертит так и сяк,
идти посольством к ляхам предлагает.
Пушкарь же знает, кто такой Вышняк
и кто такой Горбань, он тоже знает:

*«Мы подождём.
Проклюнется трава.
Терпенье и спокойствие — за нами.
Пред голодом и холодом в правах
своими лях поступится правами».*

...Иван стоял и с вала вдаль глядел.
Всё было перед ним, как на ладони.

Перины снежные взбивали кони,
и снег, как пух, из-под копыт летел.

Ивану добрых было жаль коней.
Животных часто жальче, чем людей.

Где не прошли, там брали под седло.
Зима трещит морозом иорданским.

Один казак:
— *Вот ляхов намело!..*

Другой:
— *Растают и сойдут водою
и пешие, и конные...
«Герои!..»*

— *Гляди, здесь даже рыцари тевтонские.
Что делать здесь им?
Каверзный народ!
Ведь не имеет лях Иерихонской
Трубы,
а значит — крепость не падёт.*

*«Живой ли дед Галерник?
Кто расскажет? —
Иван себе,— наверное, живой.
Который раз проходит войско вражье
по голове его до желтизны седой!
Уйти от деда домовой не хочет.
И дед без домового — никуда.
А тучи-то летят, как шерсти клочья...*

*Никогда
Маруся стать моею не захочет.
А на высокой самой на горе
мерцает огонёк в монастыре.
Быть может, Бог живёт в одной из келий?*

Видать, ему порядком надоели
мы со своими грешными делами,
махнул рукой —
мол, выбирайтесь сами.
И Бога не волнует, что она,
Маруся не моя, — совсем одна.
И нет вины в том, нет её вины,
что не пришёл её отец с войны,
что предал самый главный человек,
что матери укоротился век.

Маруся, ты жалостлива и горда,
за то и любя будешь мне всегда.
Не хочешь приобщать к своей беде
людей.

Наверно, не протоптана дорожка
к порогу.
И сидишь ты у окошка
обледенелого,
а продышать
нет силы.
Но жива ж душа!
Хоть к церкви вышла бы — всё меж людей.
Намедни слышал — нет тебя нигде».

«...Жива... И жаловаться грех.
Но разве я несчастней всех?
Живёт же вон Ящикха Кошова,
вдова.
А я?
Я по кому вдова?!

«Кому-то хуже...» — часто повторял
бродячий дьяк и за того молился.
Спасибо, добрый старец!
Ты не зря
на этот горький свет благословился.

...Я прохожу, как облако проходит.
Вся облетаю, как берёза осенью.

Влетают в косы паутинки проседи.
Жизнь — по погоде,
внутренней погоде.

Во мне зима проходит круглый год.
И я пройду, когда она пройдёт.

Иван сказал мне:
«Будь моей женой».
А я в ответ ему — ни Боже мой* —
Не повернула даже головы,
подумала:
ты славный, но, увы,
осталась только тень моей красы.
Иван, прошла я,
слышишь, не проси!

А вслух:
*«Меня ты или память любишь?
Я в матушку красивая была,
а в батюшку я смелою была,
певучею была, как наши люди,
свои от них я песни родила».*

*«Последний плод на Чураивской ветви!
Ребёнка бы оставила на свете...»*

*«Нет, нет, Иван, гром ветку иссушил.
А зимний холод с жизнью помирил.
И если бы сподобилось запеть,
хрипела б,
а не хочется хрипеть.»*

* Ни Боже мой — молчание в ответ.

*Живу я вроде, хоть и не пою,
не называя жизнью жизнь мою».*

...Уж месяц, как Полтава в окружении.
Зима.
Но продолжается брожение...

Столетний рубят Пушкарёвский лес! —
щепки, треск...
И безобразно рубят, как попало ...
Своим чужое на мгновенье стало!...
Сегодня надо...
Завтра — хоть потоп...
О человек! О толоконный лоб!
Пушкарёв глядит и бровью не ведёт.
В кострах — дубрава многовековая.
Он ляха, словно зиму, переждёт,
травую ожиданье прорастёт,
надежды новые в людей вселяя.

...Обложена Полтава.
И ляха греет лес.
И ложной славе, скорой на расправу,
в костёр бросает Древо Жизни бес.

Поскольку мир,
казачьи сабли — в ножнах.
Но мир тревожен,
чуток и тревожен,
как сон гусей.
что Древний Рим спасли.
Глухие,
мы не слышим Слово Божье:
«Для человека нет чужой земли».

...Лесько смеётся:
*«Голод подождёт,
стрекнётся враг, как чёрт от кукарека.*

*Жаль только — быстро лес не отрастёт,
порубленный рукой нечеловека!»*

Вот кто всегда и весел, и здоров.
Беда ему — печали не причина.
С тех пор, как аист бросил на порог
мальца,
ему неведома кручина.

Война пришла — Лесько увёл коня
у своего хозяина с конюшни.
Но разве можно парня обвинять? —
Он взял коня, а не украл полушку!*

С тех пор казак при сабле, при коне,
в любом бою — особенно не лишней:
*«Да разве это голод?!..
Вовсе нет, —
Великий пост,
и срок ещё не вышел».*

...Дни идут. Затянулось ожидание.
Не за горами Рождество.
Мы — дома! Ляху ж будет каково,
когда ему обузой станут сани?!

Люд топчет землю, а не воду в ступе...
И в воскресенье
даже был базар.

Неходкий люди вынесли товар —
мануфактура, шуба, самовар...
Но в голодовку кто такое купит...

Лесько Черкес хвалился, что бывает
на (очень, правда, редких) вечеринках.

* Полушка — четверть копейки.

Бобренчиха-вдова слезами тает
у сына и у мужа на поминках.

Шинкарке Таце прелюбодеянье
с рук не сошло — урезали подол.
А у Ивана — горькие свиданья:
теряет Искра ту, что не нашёл.

По стенам ходит зоркая сторожа.
Молчит Иван с обугленным лицом.
И каждый миг —
то может быть концом,
а то —
началом быть победы может.

...Наутро, сразу после Рождества,
противник снял осаду и убрался.
На Славу он потребовал права.
На Славу-то!..
И на бобах остался.

А как исчез из вида вражий хвост,
полтавские колокола ожили.
Свободы кровь разгорячила жилы.
Покой у града вновь обрёл погост.

На ляшский след упали с неба галки.
А в небо — дым из балки...

Раздел IX

ВЕСНА, И СМЕРТЬ, И СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ...

— Тепло весны пришло так неожиданно!
Зима стояла крепко до поры.
Ветра подули — и снега с горы
скатились в Ворсклу.

Это был порыв
свободы,
словно девушки на выданье.

Ещё река кичилась половодьем,
и от зимы земля не отошла.
А вишня в белом на люди выходит,
подругу грушу под руку взяла.

Уже у деток розовые щёчки.
И раздобрела пашня для зерна.
Листвою робкой разродились почки.
Весна!

Лазурный купол неба невесом.
Уже крестьяне в поле что-то сеют.
И ласточки справляют новоселье.
Девичья птичьей песне в унисон.

Такая возле нас есть чудо-балка,
в ней — озеро и, говорят — без дна.

И голубая там живёт русалка,
чья волосы длиннее, чем она.

Вернулись гуси к своему причалу,
в любовном танце глохнут глухари.
И журавлиный клин людской печали
врата к надежде сердцу отворил.

Жить надо, хоть каким бы ни был хилым,
зима ушла, необходимо жить.
Весною люди сторонятся лжи
и ходят, как на исповедь, к могилам.

О Боже, улыбаться я способна!
Я дожила до внешнего тепла.
Живые —
все мы единоутробны —
нас Мать-Земля для счастья родила.

Идут сраженья...
Договор нарушен.
Меч праведный Украине по плечу.
Пьянит свобода и сердца, и души.
Цветёт сирень.
Куёт лета кукушка...
О, Господи, я снова жить хочу!

Решила во дворе прибраться малость,
да где уж нам в калашные ряды.
А чтобы что-то и на сев осталось,
хлеб ели из сушёной лебеды.

Вновь аист молится звезде вечерней.
Порыл* к соседям с голодухи крот.
Есть мака горсть, есть мерка ржи;
хоть чем-то
порадовать бы надо огород.

* Свежие холмы от работы крота пошли на соседний огород.

Земля, спасибо за твои щедроты!
За белый цвет, за то, что больше дни.
Пришла весна. Чахотка есть чахотка.
Спаси, Господь! Спаси и сохрани!

От кашля с кровью всё так изболелось.
Всё изожглось в груди, всё изожглось.
Уже моё монисто побелело,
казалось, будто инеем взялось.

Никто по одинокому не плачет.
Добьёт меня чахотка по весне.
Иван лишь, Искра, вспомнит обо мне —
для одного его я что-то значу.

Мне жаль, что огород не прополю,
а от того, что не пою, страдаю.
Ночами, смерть свою переплывая,
я жизнь, как лучик солнечный, ловлю.

Какие дни стоят!
И не пристало
печалиться, коль всё вокруг поёт.
«Скажи, кукушка, сколько мне осталось?» —
Она же день деньской мне врёт и врёт...

Вчера Иван был. Посидел и вышел.
Ни слова.
Оглянулся у ворот.
Сегодня полк отправится в поход,
и да поможет казакам Севышний!

*«Вновь земля кипит в борьбе.
Вновь я не принадлежу себе», —*
сказал Иван.

Устами чуть коснулся,
как до сих пор ни разу, —
улыбнулся.

Лети, Иван,
живой, горячей **искрою** огня...
Прощай!
Прости меня!..

Выходит полк.
Иван под хоругвями.
И я одна невядалеке стою.
Душа моя — обожжена слезами:
поют казаки песню и...
— мою!

...Остатки дня в закате догорели.
но свечи звёзд на небесах зажгли.
За речкой песню девушки запели,
потом прервали, петь перехотели
её
и «Ой не ходи, Гриша...» завели.

А я стояла, как само молчанье.
Где было взять мне главные слова?
Ой, девушки, девчоночки, девчата!
Не пойте эту, я ещё жива».

...Отец и мама, Ваша дочь
поёт, когда сказать невмочь
о зелёном барвиночке,
о печальной дивчиноньке,
о горе высокой,
о любви глубокой,
о кринице
с живою водицей...

СОДЕРЖАНИЕ

От автора вольного перевода 3

ЛИНА КОСТЕНКО

МАРУСЯ ЧУРАЙ

Роман в стихах

Вольный перевод с украинского

Алексея Аулова

Раздел I. ЕСЛИ БЫ НАШЛАСЬ НЕОПАЛИМАЯ КНИГА... .. 9	9
Раздел II. ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК ВЫХОДИТ НА ЗАРЕ 43	43
Раздел III. ИСПОВЕДЬ 46	46
Раздел IV. ГОНЕЦ К ГЕТМАНУ 109	109
Раздел V. КАЗНЬ 113	113
Раздел VI. ПАЛОМНИЧЕСТВО 126	126
Раздел VII. ДЕДОВА БАЛКА 161	161
Раздел VIII. ОСАДА ПОЛТАВЫ 169	169
Раздел IX. ВЕСНА, И СМЕРТЬ, И СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ..... 179	179

Художник Николай Николаевич Павленко;

Редактор и корректор Алексей Гаврилович Можевитин;

Компьютерный дизайн Денис Алексеевич Варламов